

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО ·
ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения и балканистики

Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1
1995
ЯНВАРЬ •
ФЕВРАЛЬ •

Содержание

СТАТЬИ

<i>Лаптева Л. П.</i> М. В. Бречкевич как представитель позитивизма в русском славяноведении первой четверти XX века	3
<i>Фалькович С. М.</i> Ян Нечислав Бодуэн де Куртенэ о революции 1905—1907 годов	12
<i>Морозов С. В.</i> Введение элементов государственного планирования в Польше в 1936—1939 годах	20
<i>Лиханьский Я. Э.</i> Мессиада Веспасиана Коховского	29
<i>Липатов А. В.</i> Просвещение: антиномии и единство эпохи	40
<i>Гардзонио С.</i> Тредиаковский — переводчик итальянских музыкальных пьес (Либретто оперы «Сила любви и несправедливости»)	50
<i>Чович Б.</i> Мотив инстинкт смерти у Иво Андрича и Ивана Бунина	61

СООБЩЕНИЯ

<i>Медведева О. В.</i> Материалы российского консульства в Сливене как источник для изучения положения болгарского населения в 30-е годы XIX века	69
<i>Смирнов Л. Н.</i> Из истории словацко-украинских культурных связей в XIX веке	74

МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

<i>Седакова О. А.</i> Церковнославянско-русские паронимы (продолжение)	79
--	----

ПОРТРЕТЫ

<i>Исламов Т. М.</i> «В. М. доктор Турок»	89
<i>Антонова К. А.</i> В. М. Турок (к 90-летию со дня рождения)	92

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Чуркина И. В.</i> Переписка между Яном Бодуэном де Куртенэ (1845—1929) и Ватрославом Облаком (1864—1896)	106
<i>Хлебникова В. Б. Г.</i> Перазич, Р. Распопович. Международные договоры Черногории, 1978—1918. Сборник документов с комментариями	108
<i>Зволян А.</i> Тема Сибири в современных польских исследованиях	110
<i>Никулина М. В. С. В.</i> Смирнов. Очерк истории славяноведения в России. Учебное пособие	112

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Носов Б. В.</i> Международная научная конференция «Польша и Европа в XVIII в. Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой»	117
<i>Апаньева Н. Е., Цыбенко Е. З.</i> Международная конференция славистов в Люблине	120
75 лет И. И. Костюшко	126

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. И. РОГОВ (главный редактор), М. В. ВАСИЛЬЕВ (отв. секретарь),
Г. К. ВЕНЕДИКТОВ, В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА, А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ,
М. С. КАШУБА, В. И. КОСИК, Г. Ф. МАТВЕЕВ, Г. П. МЕЛЬНИКОВ, В. В. МОЧАЛОВА,
С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, В. Я. ПЕТРУХИН, М. А. РОБИНСОН,
Л. А. СОФРОНОВА (зам. главного редактора), Б. Н. ФЛОРЯ,
Т. В. ЦИВЬЯН (зам. главного редактора)

Зав. редакцией *И. И. Бизяева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л. А., Веслова И. Ю.,
Кошкина Е. А., Мочалова В. В., Осипова М. А.*

Рукописи представляются в редакцию в двух экземплярах объемом: статьи — не более одного авторского листа (24 стр. машинописного текста через 2 интервала); сообщения — до 16 стр.; рецензии, заметки о научной жизни и т. п. — до 6—7 стр. машинописи. Рукописи, оформленные без учета принятых в журнале требований, к рассмотрению не принимаются; рукописи не рецензируются. В случае отклонения рукописи автору возвращается один экземпляр, другой остается в архиве редакции.



М. В. БРЕЧКЕВИЧ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЗИТИВИЗМА В РУССКОМ СЛАВЯНОВЕДЕНИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА

В русском дореволюционном славяноведении есть имена ученых, занимавшихся исследованием истории исчезнувших как этнические группы еще в средние века ветвей западного славянства, а именно полабского и балтийского. Среди этих исследователей не последнее место занимает М. В. Бречкевич. Он жил и работал как до, так и после 1917 г., но его сочинения по истории поморского славянства написаны (за малым исключением) до названного рубежа, в период подъема славяноведения в России.

В работах о балтийских славянах Бречкевич проявил себя как яркий представитель позитивистского направления в изучении истории славянских народов. Может быть, по этой причине, а также и ввиду пренебрежительного отношения к достижениям дореволюционной исторической науки в области славистики вообще, характерного для советской историографии вплоть до середины 70-х годов, научная деятельность Бречкевича была предана забвению. Имеется лишь небольшая статья о Бречкевиче [1] и еще одна, совсем краткая, в справочном издании [2]. А до этого трудов Бречкевича касались лишь их дореволюционные рецензенты [3—5]. Краткие упоминания об ученом есть еще в общих трудах [6; 7. С. 92—93]. Последнее по времени упоминание о Бречкевиче в печати относится к 1988 г. [8]. Все перечисленные работы основаны на опубликованных материалах, а из архивных использованы лишь те, которые затрагивают деятельность ученого в советский период. В предлагаемой статье главное внимание уделено дореволюционному творчеству Бречкевича, которое реконструируется прежде всего на основе документов бывшего Центрального Государственного исторического архива Эстонии (ЦГИАЭ), Центрального Государственного исторического архива в Санкт-Петербурге (ЦГИА), Отдела Рукописей Института русской литературы РАН (ОР ИРЛИ). Привлечение этих документов целесообразно в частности и потому, что они не только показывают процесс становления Бречкевича как историка, но и характеризуют свойственный российским историкам начала XX в. подход как к историческим изысканиям вообще, так и к методам подготовки кадров.

Митрофан Васильевич Бречкевич был сыном священника. Он родился 4 июля 1870 г. в селе Бакот Кременецкого уезда Волынской губернии [9. Л. 2] и в 1890 г. окончил Волынскую духовную семинарию [9. Л. 3], а в 1897 г. поступил на историко-филологический факультет Юрьевского университета. Предмет его специализации — история средних веков — требовал хорошей подготовки по язы-

кам, и будущий ученый ею обладал. Непосредственный руководитель Бречкевича, профессор А. Н. Ясинский, отмечал, что этот студент в течение трех лет «постоянно и усердно участвовал в практических занятиях по средней истории, которые состоят в истолковании средневековых источников и чтении докладов, составленных на предложенные мною темы Бречкевич составил два доклада: 1) „Развитие и упадок автономных городов (коммун) во Франции“ и 2) „Иммунитетные грамоты меровингской и каролингской эпохи“. Кроме того, им же написано было сочинение на тему „Опыт изучения истории славянского государства в Восточной Померании“» [9. Л. 28]. Эта последняя работа студента Бречкевича была предложена историко-филологическим факультетом на соискание золотой медали. В отчете о присуждении наград говорится, что работа объемом в 450 страниц «посвящена истории Восточно-Поморского княжества, главным городом которого был Гданьск», что «сочинению предпослан обзор главных источников, к числу которых автор относит грамоты, изданные в 1882 г. Перльбахом в сборнике *Pommersches Urkundenbuch*, и ряд летописей». Сочинение разделялось на две части. В первой рассматривалась история Восточно-Поморского княжества с древности до прекращения его самостоятельности в начале XIV в. вследствие захвата Тевтонским орденом. «В этой части,— говорится в отчете,— особенного внимания заслуживают соображения автора сочинения по вопросу о происхождении восточно-поморской княжеской семьи. До сих пор вопрос этот оставался спорным, так как ученые для разрешения его привлекали позднейшие свидетельства ... Автор представленного сочинения с большим критическим тактом указал на важное значение для разрешения этого вопроса грамот, и в частности жалованной грамоты, выданной Оливскому монастырю 18 марта 1178 г. князем Самбором, братом Мстивоя I. При изложении фактов внешней истории автор сочинения всегда опирается на свидетельства источников, которые им прекрасно изучены». Вторая часть работы была посвящена рассмотрению внутренних отношений в изучаемом княжестве, и здесь был представлен «ряд весьма интересных очерков ... о княжеской власти в старине, о славянском праве и земских повинностях населения, немецкой колонизации и проникновении в страну феодализма». В этой части сочинения «автор исчерпывает почти все содержание актового материала, изданного Перльбахом в вышеназванном сборнике». Принимая во внимание, что сочинение является «вполне научной и основательной работой, которая восполнит существующий в исторической науке пробел, если будет напечатана после некоторой переработки», историко-филологический факультет постановил наградить Бречкевича «золотой медалью сенатора фон Брадке» [10. С. 14—15].

Таким образом, Бречкевич уже во время обучения в университете умел хорошо работать с источниками и приходил к самостоятельным выводам. Профессор Ясинский называл Бречкевича «человком, не только преданным науке, но и проникнутым сознанием долга, скромным и с твердым характером» [9. Л. 28].

Тот факт, что Бречкевич являлся учеником одного из крупнейших медиевистов России А. Н. Ясинского, проложившего новые пути в изучении феодальной истории Чехии, заслуживает особого внимания. Подход Ясинского к историческому процессу, его отношение к источникам и методы работы с ними были полностью усвоены Бречкевичем. Да и сама идея занятий славянской историей также, вероятно, идет у Бречкевича от учителя.

В 1901 г. Бречкевич окончил Юрьевский университет со степенью кандидата [9. Л. 34], был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре всеобщей истории сроком на два года [10. С. 59—60; 11; 12] по представлению Ясинского [9. Л. 28] и с 1 января 1902 г. по 1 января 1904 г. являлся «профессорским стипендиатом» [13. Д. 436. Л. 260]. В 1903 г. Бречкевич сдал магистерские экзамены по всеобщей истории и по политической экономии [14. Л. 16] и всецело посвятил себя изучению внутренней истории балтийских славян. Работал он, руководствуясь инструкцией Ясинского от 15

декабря 1901 г. [9. Л. 109—117], который рекомендовал своему ученику особенно глубоко уяснить проблемы происхождения феодализма и германской колонизации славянских земель. В таком духе Бречкевич и работал. В отчете за первое полугодие 1902 г. он указывает на изученные им издания литературы по истории славянских народов и довольно подробно говорит о грамотах, относящихся к «средневековой истории поморских славян». Ясинский констатировал, что его ученик «вполне вошел в круг источников по истории поморских славян, изучению внутреннего быта и учреждений которых он намерен посвятить свою диссертацию» [9. Л. 61].

Также и в дальнейшем Ясинский был вполне удовлетворен ходом работы Бречкевича и, аттестуя последнего, писал: «Из его краткой характеристики важнейших трудов, относящихся к истории феодализма, германской колонизации и прибалтийских славян, усматривается, по моему мнению, его основательное знакомство с этими трудами». Что же касается характеристики «грамот XII—XIII вв., напечатанных в изданиях Гассельбаха — Козсартена и Клемпина, то в данном случае, — продолжал Ясинский, — ему удастся немногими словами доказать свое полное знакомство с особенностями и содержанием этих грамот. По-видимому, он прекрасно овладел значительной частью материала, которым ему придется пользоваться при составлении диссертации на степень магистра всеобщей истории» [9. Л. 62].

В том же 1902 г. была напечатана статья Бречкевича о поморском князе Святополке [15]. Факультет посчитал, что эта работа «является плодом внимательного изучения литературы и источников по истории Восточно-Поморского княжества и свидетельствует о талантливости автора», что «в нашей русской исторической литературе эта работа восполняет заметный пробел: до сих пор сведения по истории Восточного Поморья приходилось получать из сочинений ... немецких и отчасти польских ученых» [9. Л. 6].

Успешная работа Бречкевича в качестве профессорского стипендиата позволила факультету ходатайствовать о предоставлении ему заграничной командировки с ученой целью сроком на два года. К этому времени он «успел изучить напечатанные источники и ознакомиться с доступной ему литературой». В представлении Ясинского говорится, что «окончательная обработка задуманного Бречкевичем труда становится крайне затруднительной вследствие невозможности достать многие статьи и издания, которые могут быть отысканы в библиотеках Берлина, Кенигсберга, Данцига, Грейфсвальда, Ростка и других городов Северной Германии. Кроме того, много актов и других материалов, относящихся к истории Поморского государства, доселе не напечатано и хранится в библиотеках и архивах Кенигсберга, Штеттина, Грейфсвальда, Штральзунда и Берлина». «Зная трудолюбие, талантливость и добросовестность г. Бречкевича, — продолжает Ясинский, — я не сомневаюсь в том, что заграничная командировка принесет ему огромную пользу» [9. Л. 92]. И хотя желательность такой командировки для Бречкевича «в видах успешного окончания им диссертации и отсутствия в отечественных библиотеках многих необходимых пособий» констатировалась Ученым комитетом Министерства народного просвещения [14. Л. 16], все же в командировке было отказано, поскольку в 1904—1905 гг. «финансовое положение страны потребовало возможного сокращения расходов» [13. Д. 28. Л. 328].

Не получив командировки, Бречкевич продолжал работу дома и в 1904 г. успел почти закончить обработку той части своей диссертации, которая посвящается выяснению значения и роли монастырей в деле германизации славянского Прибалтийского Поморья» [9. Л. 108]. Но написание им магистерской диссертации затормозилось «вследствие затруднительности, а иногда и невозможности достать все необходимые книги и пособия в наших отечественных библиотеках и даже на книжном рынке» [9. Л. 108]. По истечении срока пребывания профессорским стипендиатом Бречкевич 1 сентября 1904 г. был назначен учителем русского языка Юрьевского реального училища, затем сдал экзамен «на звание учителя гимназий и прогимназий» с правом преподавать историю и 1 августа 1905 г.

был назначен учителем истории того же училища [12]. Тогда же вышла его работа о первых поморских монастырях [16], которую заметила критика. Рецензент А. Васильев отмечал, что тема книги Бречкевича интересна ввиду малой изученности поморских славян, а также с точки зрения исследования отношений Польши и маркграфства Бранденбургского и влияния этих отношений на Поморье; что в основу работы положены опубликованные монастырские грамоты и хроники; что на этой основе Бречкевич рисует картину хозяйства нескольких монастырей Поморья в XII в. Отмечалось также, что к тексту документов Бречкевич отнесся очень внимательно и по большей части толкует их верно. По сравнению с книгой немецкого историка Визенера [17], в которой используются те же документы, Бречкевич изучил тексты более детально и поместил в примечаниях большие отрывки подлинников, чем Визенер. Вместе с тем рецензент находил в работе ряд существенных недостатков: отсутствие критики источников, недостаточно подробная характеристика устройства орденов премонстрантов и цистерцианцев, игнорирование данных русской литературы и опора лишь на труды немецких историков. Впрочем, названные в этой связи рецензентом работы русских историков Ф. Фортинского и А. Котляревского имеют лишь косвенное отношение к исследуемому Бречкевичем предмету. Рецензент полагал также, что главы II—IV книжки Бречкевича написаны на основе работы Визенера и дают мало нового тому, кто с этой работой знаком, и что вступительная глава о деятельности епископа Оттона Бамбергского «самостоятельного значения не имеет». В связи с этим критик желал Бречкевичу на будущее больше самостоятельности [3].

Этот отзыв нам представляется излишне суровым. Ведь рецензент и сам подметил более глубокое, чем у Визенера, изучение грамот Бречкевичем, а также ссылки на иные части текста источника. Вероятно, совпадение выводов русского и немецкого исследователей объясняется не заимствованиями первого у последнего, а отсутствием в распоряжении Бречкевича новых данных, которые могли бы поколебать заключения немецкого специалиста. Но ведь и подкрепление уже имеющихся в науке заключений новыми доказательствами есть также необходимый элемент в установлении научной истины. К тому же и в русской историографии работа Бречкевича заполняла определенный пробел, хотя ряд замечаний А. Васильева и может считаться справедливым.

Работа «Первые поморские монастыри» была диссертацией, защитив которую Бречкевич был допущен к исполнению должности приват-доцента всеобщей истории. С 3 марта 1906 г. он читал обязательные для студентов лекции по истории славянских народов в Юрьевском университете [12]. В течение нескольких последующих лет он подготовил вторую диссертацию, магистерскую, которую и защитил 2 мая 1912 г. на историко-филологическом факультете Юрьевского университета [13. Д. 449. Л. 48; 12]. Диссертация называлась «Введение в социальную историю княжества Славии, или Западного Поморья» и являлась главным трудом Бречкевича о поморских славянах. Диссертация была опубликована под тем же названием в Юрьеве в 1911 г.

Еще в 1911 г. Бречкевич, завершив написание магистерской диссертации, обратился к министру народного просвещения с ходатайством о предоставлении ему заграничной командировки с научной целью сроком на два года [13. Д. 28. Л. 286, 328—330]. К этому времени он уже собрал определенный материал для докторской работы — «поскольку это возможно на основании печатных довольно ненадежных изданий» — по истории средневекового Балтийского Поморья. Заграничную командировку Бречкевич просил для изучения в Германии «источников и ... пособий, которые доступны только на месте» [13. Д. 28. Л. 28]. В качестве докторской диссертации ученый намечал очерки по социальной и государственной истории княжества Славии, введение к которым он защитил в качестве магистерской диссертации. Ходатайствуя о командировке, юрьевский приват-доцент указывал, что она ему необходима в частности «для изучения постановки исторического преподавания в важнейших университетах Германии, для более близкого знакомства со славянскими странами в отношении их истории». Разу-

местся, все это могло бы принести пользу его ученой и педагогической деятельности. Командировка была ему, наконец предоставлена — с 1 июля 1911 г. сроком на два года [13. Д. 436. Л. 260]. Бречкевич уехал в Штеттин и Берлин, а затем и в Париж, предполагая также посетить Прагу и другие славянские центры. В Берлине он занимался как в университете, так и в местных библиотеках [13. Д. 449. Л. 93], а кроме того участвовал в историческом семинаре профессора Берлинского университета Шефера [13. Д. 449. Л. 148, 160]. В это же время Бречкевич пишет две статьи. Одна из них — «Грамота папы Иннокентия II от 1140 года Волынскому епископу Адальберту» [18] — представляет собой образец исследования *одного* источника и свидетельствует о глубоком проникновении автора в обстоятельства, при которых происходило приобретение Поморских земель немецким духовенством. Во второй статье — «Первый поход короля Оттона I в Италию» [19] — автор на основании источников (грамот, хроник, анналов и др.), а также исчерпывающего знания литературы, которую он весьма критически оценивает, приходит к ряду новых выводов, в частности по вопросу о причинах оппозиции знати королю и восстания знати, поддержанного значительной частью рыцарства. Бречкевич объясняет эти причины вполне реалистически — нежеланием рыцарей участвовать в трудных и рискованных итальянских походах, нужных только самому королю Оттону. Такая точка зрения была в литературе новой.

Из Германии Бречкевич поехал в Париж, чтобы и там заниматься в университете и в библиотеках [13. Д. 449. Л. 43—49; 20].

В период пребывания Бречкевича за границей освободилась кафедра всеобщей истории в Юрьевском университете, и Ясинский предложил на нее кандидатуру Бречкевича [21. Л. 24 об.]. Но при баллотировке Бречкевич избран не был [21. Л. 7]. Затем, в том же 1913 г., его пригласили занять вакантную кафедру всеобщей истории в Казанском университете. При этом ученым трудам и педагогическим способностям Бречкевича была дана высокая оценка [11. Л. 15—20; 22]. Указывалось, что он с 1906 по 1911 г. читал в Юрьевском университете и на Юрьевских высших женских курсах лекции по истории западных и южных славян, в 1909 г.— курс истории западных церквей III—VIII вв., а также состоял преподавателем истории и в средних учебных заведениях. Далее оценивались научные труды Бречкевича и подчеркивалось, что он «в своих ученых работах всегда стремится к изучению источников, особенно документальных материалов, ... умеет ставить и разрешать научные вопросы, ... ориентирован в западной ученой литературе». На этом основании рекомендовалось поручить Бречкевичу занять кафедру всеобщей истории Казанского университета, где он мог бы также читать лекции по истории славянских народов и истории средних веков. «Трудно сомневаться в том, — указано далее в том же документе, — что г. Бречкевич поведет преподавание ... в направлении тщательного ознакомления студентов с источниками и их научной разработкой» [22. С. 19]. Вскоре приват-доцент и магистр всеобщей истории Бречкевич был избран исправляющим должность экстраординарного профессора Казанского университета и утвержден приказом министра народного просвещения от 23 июня 1913 г. [11].

В Казани деятельность Бречкевича началась успешно. Он читал курс лекций по истории средних веков и по истории славян [12], вел по этим предметам практические занятия со студентами. Вместе с тем он активизировал свою научную деятельность. Так, он участвовал в работе Третьего Международного исторического конгресса (Лондон, 1913) и описал ход его заседаний в содержательной статье [23]. Четвертый конгресс намечалось провести в Петербурге в 1918 г., и Бречкевич был командирован от Казанского университета в столицу России на предварительное совещание по организации этого съезда [12], что свидетельствует об авторитете профессора среди коллег. О том же говорят его поездки в Петербург на празднование столетия Императорской Публичной библиотеки в качестве депутата от Казанского университета (январь 1914 г.) и на XVI Всероссийский археологический съезд в Пскове в июне — августе 1914 г.

[12]. Бречкевич продолжал также собирать материал к докторской диссертации и работал в летнее вакационное время 1914 г. в библиотеках Берлина и Штеттина [12]. Одновременно он публиковал мелкие статьи как научного, так и популярного характера. Так, была напечатана его вступительная лекция в Казанском университете — «О славянах и их соседях в древнейшее время» [24]. Для учащихся старших классов средних учебных заведений Бречкевич прочитал лекцию «Полабские славяне», которая была опубликована [25]. В сборнике статей, посвященных профессору Харьковского университета В. П. Бузескулу, Бречкевич поместил статью «Высший класс славянского населения в Западно-Поморском княжестве XII—XIII вв.» [26]. В этот же период выходит в свет его статья «Периодизация истории славян» [27]. Далее Бречкевич читает в Казани публичные лекции и издает ряд работ политического характера.

Однако события 1917 г. изменили судьбу Бречкевича. После ликвидации гуманитарного образования в Казанском университете он в 1923 г. переезжает на Украину, работает в различных учебных заведениях, в том числе с осени 1944 г. в Киевском университете, где с 1946 по 1950 г. возглавлял кафедру истории средних веков. Его жизнь и творчество после 1917 г. освещены уже довольно подробно [1]. Скончался Бречкевич 23 августа 1963 г.

Наиболее существенный вклад в науку он внес своей разработкой истории поморских славян, которой занимался главным образом в дореволюционное время. Выше уже дана оценка его частным исследованиям в этой области. Основным же трудом его по поморским славянам является его «Введение в социальную историю княжества Славии, или Западного Поморья». Книга насчитывает три части, по три главы в каждой, охватывает период в полтора столетия истории поморских славян после принятия ими христианства и основана на опубликованных источниках, прежде всего на грамотах, которые стали изготовляться со второй половины XII в. духовными лицами в интересах церкви и выдавались от имени князей, епископов, а позднее — от имени монастырей, городов, светских лиц. В труде дан обстоятельный источниковедческий анализ грамот, подробно охарактеризованы их издания, указано на случаи неправильного пересказа их содержания или интерпретации издателями. Все свои замечания Бречкевич подтверждает текстом грамот, приводимым в подстрочнике. Характеризуются им и прочие использованные источники — немецкие, польские и другие хроники. Весьма основательно рассмотрена в книге немецкая, польская и русская литература, которая, несмотря на ее обилие (особенно немецкой), по мнению Бречкевича, не дает убедительного ответа на вопросы о социальном строе древнего Поморья. Бречкевич считает, что мнение большинства его предшественников о развитии землевладельческой аристократии и о крепостном состоянии земледельческого населения Поморья в предшествующий германизации период является неправомерным. Поэтому автор монографии подвергает пересмотру вопрос о социальном строе княжества Славии в XII—XIII вв., чему и посвящены три главы второй части книги. Здесь исследователь приходит к выводу, что землевладельческая славянская знать в Поморье еще не развилась: земля находилась в руках князя не как помещика, а как государя, а крестьяне до германизации были свободными, что и подтверждается таким авторитетным источником как «Житие Оттона Бамбергского». В третьей части книги характеризуется процесс перехода деревень в частное владение, преимущественно в руки церкви, и положение населения в отчуждаемых землях. Здесь Бречкевич ставит вопрос о том, почему славянское население без сопротивления подчинялось новым порядкам. Сам он отвечает на вопрос таким образом: поморяне были подавлены предшествующим разорением от польского и датского нашествия; у них произошел душевный перелом в связи с христианизацией (видимо, Бречкевич считал, что христианское мировоззрение мешало славянам сопротивляться), переход от свободного состояния к крепостному совершался постепенно. Но современникам Бречкевича, рецензентам его книги, такие объяснения показались неубедительными, и они их не приняли, не предложив впрочем никаких других. Нам

представляется, что земельные дарения князя и церкви, оформлявшиеся грамотами, не означали немедленного изменения социального и экономического положения туземного населения. Изменение наступило позднее, когда на территорию приобретенных владений монастыри и другие собственники стали приглашать колонистов. Первоначально же для крестьян, видимо, не было разницы в том, кому выплачивать подати — князю или новому владельцу деревни.

Точка зрения Бречкевича относительно свободного положения славян до принятия ими христианства и начала германизации противоречила мнению многих его предшественников по изучению проблемы, главным образом — немецких историков. Не встретила она сочувствия и у современников. Так, петербургский профессор Н. В. Ястребов в отзыве на книгу Бречкевича писал, что ее автор не доказывает своей основной мысли: «К безрезультатности работы, к внутреннему противоречию привела г. Бречкевича несчастная мысль о „самобытности“ истории Славии-Поморья, при которой социальная история Славии вырывается из связи с историей окружающего мира не только германского, но даже и славянского — Польши и Чехии» [4. С. 442]. Впрочем, Ястребов не согласен и с «излишествами немецкой историографии», рисовавшей картину резкого сословного разделения населения Поморья-Славии и почти полного закрепощения здесь сельской массы населения уже в древнейший период.

Защищая свою позицию, Бречкевич находил, что вопрос о «свободе» народной массы «не обставлен достаточными доказательствами». Совершенно неизвестно, считал Бречкевич, каким было прежнее состояние поморского народа до возникновения в его среде христианства: «До XII в. история Поморья почти совершенно погружена во мрак». Когда же в Поморье распространилось христианство и совершилась германизация, славянское население, по Бречкевичу, оказалось в неблагоприятном положении, а потом растворилось в массе нахлынувших из Германии переселенцев; гибель славянского народа внушила историкам сомнения относительно «нормальности» культурного и общественного развития погибших, поэтому была проведена аналогия с некоторыми соседними странами Поморья. Важнейшую роль в укреплении господствующего в литературе взгляда на славян как на зависимое население сыграла, по мнению Бречкевича, неполнота и неясность источников. Если бы последние вполне определенно и убедительно свидетельствовали о свободе или о несвободе поморян, то и в исторической литературе не было бы места разногласиям. Но источники дают лишь такие свидетельства, которые можно толковать и так, и иначе [28]. Бречкевич далее считает, что сам он более полно и глубоко осмыслил источники, чем его оппоненты; его собственное мнение представляется поэтому ученому более обоснованным.

По существу изложенного спора целесообразно, на наш взгляд, подойти к проблеме с точки зрения теории о взаимосвязи генезиса государства с социальной структурой общества. Положение о возникновении государства лишь на стадии достаточно глубоко социального расслоения общества представляется бесспорным. С учетом этого положения и следует подходить к рассматриваемой проблеме. Утверждение о том, что поморские славяне жили в обществе такого же характера, как и их соседи, явно не выдерживает критики. Очевидно, существовал ряд объективных условий, не позволивших поморским славянам создать к X в. — подобно их соседям — государственное объединение; условий, задержавших их развитие на уровне племенных союзов, в которых, как известно, основная масса населения сохраняет свободное состояние.

Отметим также, что спор между Бречкевичем и сторонниками противоположного мнения по данной проблеме шел по существу не в социальном, а в национально-конфессиональном русле. Немецкие и некоторые другие историки высказывали свои соображения о наличии крепостной зависимости у поморских славян в первую очередь для того, чтобы показать, что немецкое завоевание, не лишив славян «свободы», принесло им «свет христианства» и вообще высокую культуру. Бречкевич же стремился утвердить мысль о немецком завоевании как

акте, приведем в конечном счете к закреплению славян германцами. Таким образом, на выводы обеих сторон влияли априорные, тенденциозные концепции.

Если оценивать работу Бречкевича «Введение в социальную историю княжества Славии...» в целом, то следует все же констатировать, что она была большим достижением российской позитивистской историографии в области славяноведения. Можно полностью присоединиться к выводу одного из рецензентов: «Несмотря на большое количество трудов о поморских славянах, исследование Бречкевича ... дает сравнительно много нового и представляет собой ценный вклад в науку. Ценность эта увеличивается еще и тем, что работа ... относится к мало разработанной области — истории славянского права» [5].

Заключая анализ творчества Бречкевича, необходимо сказать и о его взглядах на славянство в целом. Ярче всего эти взгляды выражены в статье «Периодизация истории славян» (1915) [27]. Ученый отмечает, что фактором относительной близости между различными славянскими народами является лишь язык. Правда, до XV в. и «внутренняя жизнь» этих народов имела, по мнению Бречкевича, «много сходных черт», но для ее изучения Бречкевич не считает возможным последовательно применять «ни общекультурную, ни социально-политическую точку зрения»: за последние полтысячи лет культурное развитие славян «не имело внутреннего взаимодействия»; славянские народы развивались независимо, не оказывали друг на друга «никакого влияния». Еще меньше общего видит Бречкевич в их политическом развитии: ведь даже соседние славянские народы развивались по-разному [27. С. 94]. Далее автор объявляет неприемлемой периодизацию славянского права, предложенную Ф. Зигелем, не согласен он и с периодизацией всей истории славян, намеченной А. С. Будиловичем в статье последнего «Несколько замечаний о научной постановке славянской истории, ее объеме, содержании и периодах». Будилович делил славянскую историю так: древний период — от Кирилла и Мефодия до падения Царьграда; средний — до Петра Великого; новый — от эпохи этого государя и позднее. Бречкевич замечает, что не все славяне укладываются в эти рамки, которые фактически представляют собой «прокрустово ложе» для истории славянства [27. С. 101]. Предположив, что в качестве принципа периодизации общей славянской истории могла бы быть взята «степень единства славян», ученый, однако, и здесь не видит того стержня, который мог бы объединить все славянские народы. Эпохой относительно большей близости славян он считает дохристианскую, а в веках после принятия христианства отмечает культурный разрыв, полагая, что политические и культурные изменения в XV—XVII вв. «окончательно разъединили славянство» [27. С. 106]. В XIX и начале XX в. Бречкевич видит возрождение славян, но в то же время и «культурное закрепление славянского разъединения»: то, что произошло в это время, является не «собственно славянским объединением», а лишь улучшением условий для культурного сближения «образованных народов» вообще.

Таким образом, Бречкевич не видит возможности создания некоей общей истории славян и считает, что для «более совершенного» научного постижения истории славянских «ветвей» необходимо изучение истории каждого славянского народа и сопоставление ее с развитием остальных славянских народов.

Приведенные здесь рассуждения Бречкевича свидетельствуют о его весьма трезвом, реалистическом взгляде на прошлое и настоящее славянского мира, взгляде, свободном от романтических иллюзий. Это говорит и о том, как далеко ушли русские слависты позитивистского направления в первой четверти XX столетия от славянофилов; последние отголоски славянофильства звучали в работах Зигеля и Будиловича, толковавших об общем славянском мире, якобы противоположном миру романо-германскому.

Изложенный выше материал показывает, на наш взгляд, что русское славяноведение начала XX в. как по методу исследования исторического материала так и по общему подходу к славянской истории относилось в целом к числу прогрессивных отраслей русской исторической науки. И одним из представителей российской славистики такого направления был Митрофан Васильевич Бречкевич.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Москаленко А. Е. М. В. Бречкевич и его работы по истории поморских славян//Славянский сборник. Саратов, 1972.
2. Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979. С. 84—85.
3. Журнал Министерства народного просвещения. 1906. № 7. С. 175—179.
4. Ястребов Н. В. Отзыв о сочинении М. В. Бречкевича «Введение в социальную историю княжества Славии или Западного Поморья»//Сборник отчетов о премиях и наградах, присужденных Императорской Академией наук. Пг., 1918. Вып. 7.
5. В. К-въ [Кораблев В. Н.] [Рец. на кн.:] М. В. Бречкевич. Введение в социальную историю княжества Славии ...//Правительственный вестник. 1911. № 196. С. 3.
6. Очерки истории исторической науки в СССР. М. 1963. Т. III. С. 511—512.
7. Вайнштейн О. Л. История советской медиевистики. Л., 1968. С. 79—80.
8. Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988. С. 353, 377, 391.
9. ЦГИАЭ. Ф. 402 (Юрьевского университета). Оп. 3. Д. 174.
10. Ученые записки Юрьевского университета. 1901. № 1.
11. ЦГИА. Ф. 740. Оп. 8. Д. 431.
12. ЦГИА. Ф. 740. Оп. 19. Д. 40.
13. ЦГИА. Ф. 733. Оп. 155.
14. ЦГИА. Ф. 733. Оп. 152. Д. 18.
15. Бречкевич М. В. Святополк — князь Поморский//Сборник Учено-литературного общества при Юрьевском университете. Юрьев, 1902. Т. 5.
16. Бречкевич М. Первые поморские монастыри. Очерки по истории Балтийского Поморья в XII веке. Юрьев, 1905.
17. Wiesener W. Die Geschichte der christlichen Kirche in Pommern zur Wendenzeit. Berlin, 1889.
18. Журнал Министерства народного просвещения. 1913. № 1. С. 1—23.
19. Ученые записки Юрьевского университета. 1913. № 3.
20. ОР ИРЛИ. Ф. 669 (Е. В. Петухов). № 258 (письма Бречкевича).
21. ЦГИА. Ф. 733. Оп. 201. Д. 169.
22. Ученые записки Казанского университета. 1913. № 12.
23. Бречкевич М. В. Третий Международный исторический конгресс//Правительственный вестник. 1913. № 95.
24. Ученые записки Казанского университета. 1913. № 11.
25. Ученые записки Казанского университета. 1915. № 10.
26. Сборник статей в честь В. П. Бузескула. Харьков, 1914.
27. Журнал Министерства народного просвещения. 1915. № 9.
28. Ученые записки Юрьевского университета. 1912. № 8.



© 1995 г. ФАЛЬКОВИЧ С. М.

ЯН НЕЧИСЛАВ БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ О РЕВОЛЮЦИИ 1905—1907 годов

Имя выдающегося ученого Яна Нечислава Бодуэна де Куртенэ, поляка по происхождению, большую часть своей жизни посвятившего преподаванию в российских университетах и внесшего неоценимый вклад в развитие русской и славянской лингвистики, может служить символом тесной связи русской и польской науки. Но Бодуэн де Куртенэ не ограничивался научной деятельностью, он активно участвовал в политической и общественной жизни России конца XIX — начала XX в.; он сотрудничал в полусотне изданий российской и зарубежной периодики, выступал как публицист и оратор, как инициатор ряда политических и общественных мероприятий [1. S. 139—163; 2. S. 72—138].

Особенно ярко проявилась эта сторона деятельности Бодуэна в годы первой русской революции. Хотя он не был сторонником революционного движения и не являлся борцом против царизма, но осуждал его внутреннюю и внешнюю политику, последовательно выступал против милитаризма и военных авантюр, репрессий и цензуры, национального гнета во всех его проявлениях, требовал национальной и религиозной свободы, равноправия всех граждан и народов Российской империи, предоставления им права на самоопределение, национальную автономию и самоуправление.

Эту программу Бодуэн де Куртенэ пропагандировал в печати, в публичных докладах и лекциях, выступлениях на общественных форумах. При его содействии в начале 1905 г. в Петербурге было организовано собрание русской интеллигенции с участием представителей общественности Королевства Польского и принята резолюция, отражавшая позицию Бодуэна по польскому вопросу [3. S. 150; 1. S. 148]. Свои взгляды он развил на созванном вскоре там же, в Петербурге, съезде профессоров и преподавателей высших учебных заведений, принявшем резолюцию по национальному вопросу в России в духе взглядов Бодуэна [3. S. 141—152; 1. S. 148—152]. Важным моментом в 1905 г. явилось участие ученого в съезде «автономистов» в Петербурге, где делегаты представляли национальные меньшинства Российской империи. Бодуэн не только выступал на съезде [4; 1. S. 141, 143, 152], но и разъяснял в печати результаты его работы и смысл движения «автономистов» [5].

Его публицистическая деятельность стала в это время особенно интенсивной: в статьях Бодуэна не только излагались его программные принципы, но и давалась оценка текущим событиям в России. О них узнавал и польский читатель, в том числе из галицийской прессы, где Бодуэн де Куртенэ также сотрудничал.

Фалькович Светлана Михайловна — д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

Однако основные издания, дававшие ему трибуну, принадлежали к кадетскому направлению, и это не было случайностью. Несмотря на то, что Бодуэн заявлял о принципиально негативном отношении к политике, политической деятельности, политическим партиям [6. S. 72; 1. S. 140], он не только был к ним причастен, но и формально являлся членом Конституционно-демократической партии. В этой российской Партии народной свободы (так именовали себя кадеты) состояло немало представителей интеллигенции, в том числе и польской (профессор Казанского университета Г. Шершеневич, профессор Петербургского университета Л. Петражицкий, известный адвокат А. Ледницкий были членами ЦК партии), ее даже называли «профессорской». Возможно, это обстоятельство способствовало сближению Бодуэна де Куртенэ с кадетами, но, несомненно, решающим стало то, что программа российских либералов, формирующаяся в условиях революционного подъема, во многом была созвучна взглядам польского ученого, в частности, в отношении вопросов национальной автономии, самоуправления, демократических свобод и т. п. В дискуссии по программным вопросам Бодуэн выступал на II съезде партии в январе 1906 г. [7; 1. S. 147—148, 152; 2. S. 111]. Положения, близкие к кадетским, он развивал на страницах печати и в публичных выступлениях на уже упомянутых форумах, организация которых поддерживалась кадетами. Сходство проявлялось и в оценках событий, в анализе, который Бодуэн де Куртенэ пытался делать по их горячим следам.

Когда революционная волна стала спадать и началось наступление реакции, Бодуэн воспринял это весьма болезненно. Его настроения отразились наиболее ярко в частной переписке. Так, 11 сентября 1906 г. он писал известному лингвисту Л. В. Щербе: «Просто не хочется не только работать, но даже учить. Какой-то беспросветный туман идиотства, наглости, жестокости и кровожадности. А благословение всему этому идет „с высоты престола“». В письме тому же Щербе он признавался некоторое время спустя (2 декабря 1906 г.): «с отвращением и омерзением вспоминаю свою „публицистическую“ и „общественную“ деятельность. Другим она не принесла ни малейшей пользы, а мне самому причинила непоправимый вред в научном и материальном отношении. По злой иронии судьбы теперь мне, как „интеллигентному пролетарию“, приходится продолжать жалкую „публицистику“ просто для заработка» [8. С. 21; 2. S. 113].

Характерно, однако, что в этой «публицистике» Бодуэн, несмотря на разочарование в общественной деятельности, не изменил прежним взглядам и симпатиям. Даже спустя несколько лет он выступил в галицийском журнале, чтобы защитить кадетов от нападков польских национал-демократов (эндеков) и «прогрессивных антисемитов». Идеолог последних А. Немоевский «высмеивал „кадетов“ и других русских „либералов“ именно за то, что они осмеливаются ссылаться на принципы», — заявлял Бодуэн. Той же причиной объяснял он и ненависть к кадетам Р. Дмовского и других эндеков. «„Кадеты“, — подчеркивал Бодуэн, — опираются на нерушимые принципы, исходят из принципов и, например, ни „польского вопроса“, ни еврейской проблемы не желают рассматривать изолированно, с точки зрения преходящих интересов и гешефтмахерских комбинаций, а всегда — с общих позиций, в связи с другими подобного рода вопросами. Это должно возмущать и приводить в бешенство господ „национальных эгоистов“, которым гораздо более по вкусу русские октябристы, националисты и даже совсем „правые“ члены „Союза русского народа“, то есть люди либо вовсе без принципов, либо же с единственным принципом: „делай то, что в данную минуту считаешь более выгодным для себя и своей шайки“» [9].

Как уже отмечалось, симпатии ученого к кадетам опирались на близость его к тогдашним политическим установкам Партии народной свободы (выдвигавшей лозунги автономии Финляндии и Польши в составе Российской империи, областной автономии для некоторых других территорий государства, самоуправления, национального равенства и национально-культурного самоопределения и пр.), сама же эта близость проистекала из сходства социальных установок. Подобно кадетским профессорам, Бодуэн де Куртенэ с недоверием и опасением относился

к рабочему движению. Исповедуемые им индивидуализм и идеализм усугубляли неприятие классовой борьбы пролетариата, отвращение к политиканству заставляло с подозрением смотреть на деятельность социалистов, социал-демократов и других партий, претендующих представлять интересы пролетариев. Показателен, например, пренебрежительный отзыв его в одной из брошюр о собрании в Кракове «партийных „товарищей“, то есть юнцов, „работающих в социализме“, выставляющих себя рабочими и разглагольствующих о восьмичасовом рабочем дне» [10].

Бодуэну не чуждо было понимание классовой подоплеку политических явлений. Знаменательно его отношение к идеологии и практике неославистов. Всякие проявления «всенациональности» («wszechnarodowości» и «wszechplemienności») он считал выражением агрессивного, захватнического национализма. За концепциями его идеологов, и в частности, за «всеславянской идеей», он усматривал их цели — «новые должности, новые рынки сбыта для главного товара, производимого на их родине, то есть для чиновничьей касты» [11; 1. S. 154]. Интересно, что Бодуэн выступал против деления людей по племенному признаку (славяне и неславяне), склоняясь скорее к экономическим и социальным критериям: преследуемые и преследователи, эксплуатируемые и эксплуататоры. Но отмечая наличие экономических и социальных полюсов, он не находил пути ликвидации их антагонизма. Оба полюса, как и сам их антагонизм, вызывали у него отрицательную реакцию. «Нынешние господа европейско-американского мира, аристократы, богачи и „буржуазные интеллигенты“, — писал он, — смотрят с таким отвращением, омерзением и возмущением на многие проявления „эмансипации“ пролетариата, потому что видят в них лишенное всяких прикрытий отражение собственных вожделений и „принципов“ [...] Ведь реакция и революция — это две родные сестры» [6. S. 77]. Негативное отношение Бодуэна в борьбе масс, к революционным методам этой борьбы нашло выражение и в том, что, выступая на профессорском съезде в марте (апреле) 1905 г., он характеризовал начавшуюся в России революцию как «смуту и беспорядок внутри государства». Будучи принципиальным противником применения силы в борьбе с общественным злом, он подчеркивал, что для участников съезда вопрос о ликвидации русификаторской политики царизма имеет «лишь теоретическое, принципиальное значение, ибо не от нас зависит то или иное практическое его разрешение». «Мы можем, — заявлял Бодуэн, — требовать только безусловного применения принципов международной справедливости и равноправия» [3. S. 141—143]. Что же касается пути осуществления этих требований, то он, как и кадеты, возлагал надежды на соглашение российских либералов с царизмом. «Если бы, — писал Бодуэн де Куртенэ уже после революции, — с одной, и с другой стороны, то есть со стороны монарха и со стороны прогрессивных партий было проявлено достаточно политического разума и способности предвидеть, нужно было бы договориться и действовать вместе. Этого требовал взаимный интерес монарха и людей прогрессивных» [12. S. 16].

Исходя из этой концепции, ученый на II съезде кадетской партии отстаивал идею конституционной монархии против лозунга республики [7], а спустя два года после революции упрекал «русские прогрессивные партии», и прежде всего кадетов, за «огромную, непростительную и непоправимую ошибку» — за то, что кадеты «не умели удержаться в своих требованиях на соответствующих позициях, позволяли себе всерьез рассматривать вопрос выбора между монархией и „республикой“ [...] тогда, когда монархия и не думала уступать и была достаточно сильна, чтобы отразить все покушения против нее». Бодуэн объяснял ошибку психологическими причинами: «накопилось столько отвратительных и отталкивающих явлений, что о стремлении прогрессивных партий к сближению (с царизмом. — С. Ф.) не могло быть и речи». При этом Бодуэн явно упускал из виду тот факт, что «сближению» препятствовала прежде всего негативная позиция самого царизма. Правда, он с сожалением констатировал, что «и с другой стороны, инстинкт самодержавия бросил монархию в объятия громил и анархистов

реакции, с которыми, впрочем, уже раньше были завязаны узы совместных действий и взаимной обороны от атак „революции“. Вместе с тем Бодуэн делал также общий вывод о неготовности российского общества к восприятию республиканских идей. Он утверждал, что лишь ничтожная его часть имеет потребность в таких чувствах, как любовь и стремление к свободе, основанной на прав. «В минуту безумия и „революционной“ горячки,— писал он,— некоторые взбунтовавшиеся рабы изрыгали антимонархические богохульства и провозглашали „республиканские“ лозунги, сами не вполне их понимая. Но в глубине души они оставались такими же сторонниками наследственного единовластия, как и до этого» [12. S. 16—18].

Подобные оценки и выводы не были единичными высказываниями Бодуэна де Куртенэ в период спада революции и последующие годы. В 1908—1911 гг. он напечатал ряд статей¹ (преимущественно в заграничной и прежде всего в галицийской прессе), где попытался дать подробный анализ прошедших революционных событий и актуального состояния российского общества, а также сделать прогнозы на будущее [12; 13. S. 415—432; 14]. Эти выступления заслуживают более детального рассмотрения как по своему значению, так и потому, что они менее доступны современному читателю (в «Избранные произведения» Бодуэна они не вошли). Все они окрашены глубоким пессимизмом, что служит подтверждением охватившего ученого в эпоху реакции настроения разочарования и подавленности. Бодуэн считал русско-японскую войну главной причиной разразившихся в 1905 г. событий и в самих этих событиях видел не революцию, а «попросту бунт временно спущенных с цепи разъяренных рабов и не имеющее примеров в истории по жестокости усмирение этого бессмысленного бунта». «Сама так называемая „революция“,— писал он,— почти не пролила крови, но зато ее целыми потоками пролила „контрреволюция“ вместе с мстительным и безжалостным правительством. Сама „революция“ почти никого не била, но зато была бита по всем пунктам». Подчеркивая полную капитуляцию революции, он отмечал: «Общее настроение общества выражается в безусловном предании на милость или немилость „торжествующей свиньи“, то есть контрреволюции и реакции» [12. S. 7, 21]. По мнению Бодуэна де Куртенэ, «„революционная“ одурь 1905—1906 гг. имела два бесспорных результата: 1) прежде всего она помогла правительству выловить наивных энтузиастов из серой и инертной массы и обезвредить их самыми разными способами; 2) затем она ускорила процесс всплывания на поверхность всей грязи и экскрементов разлагающейся и смердящей России» [12. S. 21]. Это его утверждение находилось в связи с тезисом о низком уровне культуры русского общества, в том числе культуры политической. «С упорством маньяков,— писал Бодуэн,— твердили, что русское общество самое демократическое в мире. Между тем, глядя в глаза действительности, мы констатируем, что общество это принадлежит к наиболее аристократичным. Редко где можно увидеть столь большие различия и столь глубокую рознь между классами общества, как именно в России [...] До сих пор русское общество преимущественно представляло собой стадо без высших общественных инстинктов и без выдающихся индивидуальностей. Побудительными причинами действия являлись почти исключительно: эгоизм и страх перед кнутом пастуха» [12. S. 18—19].

Как считал Бодуэн, такое состояние общества определило судьбу революции. По его мнению, «русское освободительное движение могло рассчитывать на быструю победу только в том случае, если бы в соответствии с требованиями великого исторического момента утвердилось исключительно на широкой этической платформе, если бы стремилось к проведению принципов социальной справедливости, воплощению в юридическо-государственные формы как уравнивания в правах всех граждан, так и необходимых для современной жизни гражданских свобод, если бы было в состоянии принять во внимание интересы всех жителей

¹ Краткую оценку этих статей см. [15. С. 118].

государства». Но движение это оказалось парализовано «различными национальными, классовыми и тому подобными эгоизмами», на его пути встали «претензии не только аристократов прошлого, не желающих отказаться от своего привилегированного положения, но и аристократов будущего, ставящих на первый план восьмичасовой рабочий день и пренебрегающих „буржуазными свободами“, без которых, однако, не может быть и речи ни о каких экономических реформах» [13. S. 416]. Бодуэн де Куртенэ утверждал, что в 1905—1907 гг. в России действовали вооруженные отряды «контрреволюционного народа», а «революционный народ» — фикция. «Низкий уровень культурного и умственного развития крестьянства превращал его, по словам Бодуэна, в «забитую местным начальством инертную массу», которая может «разойтись и разгуляться» и, главным образом по наущению разных партий, «крушить, жечь, убивать». «Такой же инертной массой, дезорганизованным, темным, не ориентирующимся стадом без пастыря и направления» считал он рабочих. Отмечая, что когда-то на них возлагались большие надежды, Бодуэн писал: «Они, кого другие толкали сначала в сторону революции, а затем в направлении, парализующем революционные стремления, ныне они не оказывают никакого влияния на судьбы государства и общества» [12. S. 19; 13. S. 419].

Давая отрицательную характеристику российским революционным массам и прежде всего пролетариату, Бодуэн де Куртенэ осуждал и пролетарские методы борьбы. По его мнению, стачечное движение в 1905 г. казалось чем-то «более глубоко продуманным и с умом направляемым», однако после столь важного события, как царский манифест 17 октября, «нестановые забастовки» превратились в «спорт», в «искусство для искусства», в «великое надувательство». «Продолжавшиеся до бесконечности в силу инерции, стадным и стихийным образом, при отсутствии возможности оправдать их стремлением к некоей определенной цели, они,— писал о стачках Бодуэн,— показали в конце концов свою слабость и неспособность и привели к позорной компрометации». Не менее сурово оценил он и вооруженное восстание в Москве: «Казалось, что по крайней мере это пресловутое московское восстание в декабре 1905 г. является чем-то психологически более серьезным, что оно, хотя и безумно и безнадежно, но имеет под собой более глубокую основу. Между тем оно также оказалось революционным спортом, идущим на поводу у провокаторов» [12. S. 20; 13. S. 419].

Заявляя о том, что «пресловутая русская „революция“ во многих своих проявлениях была делом провокаторов, находящихся на содержании у опекающего их правительства» [12. S. 21], Бодуэн возлагал большую долю ответственности на русских социалистов. Он утверждал, что именно они «запустили рабочее дело», на ход которого фатальное влияние оказали и стачки, и восстание: промышленность пришла в упадок, а это «выбило почву из-под ног рабочих» [13. S. 419]. Бодуэн обвинял русских социалистов (это слово он ставил в кавычки) и в том, что их «столь горячие антимонархические чувства [...] оказались мыльным пузырем», и в том, что «агитаторы» и «демагоги» «крайних» партий приветствовали разгон Думы. «Разные юные „товарищи“, рекрутирующиеся преимущественно из индивидуумов, либо находящихся на иждивении родителей, либо живущих не совсем честным образом, а в одно время заядло надрывавшие глотку за „восьмичасовой рабочий день“, „диктатуру пролетариата“, теперь, наверное, надолго замолкли»,— писал Бодуэн. Правда, он признавал, что небольшая социалистическая фракция в Государственной думе «выступает в защиту своих принципов смело и отважно», но тут же оговаривался: «Она так слаба, что ввиду этого трудно предполагать, чтобы задача спасения распадающейся России могла выпасть на долю социалистам» [12. S. 18—19].

Вопрос о «спасении распадающейся России» возник в статье не случайно. Бодуэн де Куртенэ подчеркивал, что «настоящее положение России как разноплеменного и разнонационального государства и общества производит впечатление неизлечимой хронической болезни». «Социально-политическая сторона российской жизни представляется нам безнадежной,— писал он в 1910 г.— Вокруг

густые тучи, над головой крышка гроба, в душах людей, некогда стремившихся к свободе и законности, воцарилась полная апатия. Ничего не хотят, ни к чему не стремятся». Наряду со «скукой, отупением и окостенением» он усматривал признаки болезни во «всеобщей жажде крови», в разгуле низких страстей, рост аморальности и беспринципности, в утвердившейся полной безнаказанности власти. «Старая „дорволюционная“ Россия,— заявлял Бодуэн,— держалась воровством, разбоем и анархией, а теперь эти основы „существующего порядка“ укрепились до небывалой мощи, так что без них уже невозможно и помыслить существование России [...] Целые поколения воспитываются в атмосфере анархии, произвола и полнейшего нигилизма в отношении правовых понятий. Отсюда культ лишь силы кулака [...] Это полное, но, увы, еще не окончательное разложение». «Общее впечатление от того, что сейчас происходит в России,— резюмировал Бодуэн де Куртенэ,— приводит к предположению, что мы полным ходом движемся вспять и что, перескочив через средневековье, мы очнемся ходоном в обстановке окончательного одичания» [12. S. 8—12, 22—23].

Пессимизм ученого был глубоким. Он весьма скептически относился к мнению тех, кто видел в революционных событиях 1905—1907 гг. лишь «прелюдию к будущей „великой русской революции“». «Я, однако, думаю,— заявлял Бодуэн,— что в будущем может иметь место только повторение прошедших ужасов и безобразий, хотя, конечно, в иной форме». Поэтому он подчеркивал, что не ждет ничего «ни от русского „самодержавия“, ни от русской „контрреволюции“ и иже с ней, ни от российского „парламента“ и других „законодательных“ институтов. Жертв было много и наверняка будет не меньше. Но это будут жертвы бесплодные и безнадежные» [12. S. 7—8].

Рассматривая Российскую империю как «плод, еще не созревший, но уже источенный червем», Бодуэн де Куртенэ пытался выявить экономические и политические факторы, ведущие к упадку. Он проводил аналогию с подвергшейся разделам Речью Посполитой, подчеркивая, что и Польшу XVIII в., и Россию XX в. характеризует общая черта — отсталость [12. S. 8; 13. S. 415—416]. Бодуэн предупреждал, что «постепенный экономический захват Российского государства иностранцами является лишь вопросом времени. А игра в заграничную политику, носящую наглый и оскорбительный характер, может привести к новой войне», которая повлечет за собой одни несчастья. По его мнению, в будущем не стачки, а разве что восный бунт способен принести успех, но этой страшной, разрушительной силы нужно опасаться. Предрекал Бодуэн и возможность иностранной интервенции в Россию в случае внешних и внутренних потрясений государства [12. S. 25—26].

Характерно, однако, что мысль о медленном, долгом, но развивающемся в одном, неизменном направлении процессе «парализации», «разложения», «разрушения» царского государства представлялась Бодуэну «логическим выводом» из той оценки, которую он давал состоянию общественного сознания в России: «В отдельных душах Россию убивают основательно и, видимо, безвозвратно». Для ученого, мировоззрение которого характеризовалось сильным влиянием индивидуализма и идеализма, прогресс определялся не движением масс, а мыслью и деятельностью отдельных личностей. Не случайно Бодуэн сокрушался, что «выдающиеся индивидуальности составляют исключение». Вместе с тем, рисуя безотрадную картину состояния Российской империи после революции, он отмечал, что «в последнее время как будто произошел поворот к самой высокой степени приобщения к общественной жизни, благоприятного для появления сильных сознательных индивидуальностей». Видимо, с этим связывалась прибывшая сквозь толщу пессимизма надежда Бодуэна де Куртенэ на то, что «может быть, Россия перенесет все свои нынешние болезни и выйдет из них окрепшая и обновленная» [12. S. 12, 25—26].

Трудно сказать, что определенно подразумевал Бодуэн под «поворотом» в общественной жизни России. В 1910 г., когда были написаны эти строки, в стране действительно обнаружили первые признаки нового общественного подъ-

ема, в частности, наметился рост стачечной борьбы. Но наверняка не это имел в виду Бодуэн. Скорее ему импонировали такие проявления гуманитарного плана, как движение за отмену смертной казни, выступления студенческой молодежи. Впоследствии к ним добавились широкие общественные акции в защиту политзаключенных, кампания протеста в связи с «делом Бейлиса» и др. Рост общественного сознания в России был для Бодуэна главным обнадеживающим моментом, тем более, что он, тесно связанный не только с научной и культурной, но и общественно-политической жизнью России, осознавал значение этого фактора для судьбы всех народов империи. Весьма характерно в этой связи отличие позиции Бодуэна от позиции польских буржуазных националистов — эндсков, которые также хулили русскую революцию, писали о низком уровне русского общества, о разложении и близкой гибели государства, но при этом делали акцент на национальный момент, т. е. чернили все *русское* [15. С. 16—18]. Бодуэн же, свободный от предубеждений польского национализма, давал оценки с тех же классовых позиций, с каких выступали и русские кадеты. Поэтому в его критике революции преобладали социальные аспекты.

Что же касается его взглядов на национальный вопрос, то они остались неизменными в течение всех послереволюционных лет. Наиболее убедительно об этом свидетельствовал факт публикации в 1913 г. брошюры «Национальный и территориальный признак в автономии», написанной Бодуэном де Куртенэ еще в 1905 г. В ней ученый предрекал царизму катастрофу в результате его национальной политики. За эту публикацию Бодуэн был осужден к двум годам заключения; три месяца (ноябрь 1914 — январь 1915 гг.) он провел в петербургской тюрьме «Кресты», а затем был освобожден благодаря хлопотам друзей, среди которых большую роль сыграл крупнейший русский ученый-славист А. А. Шахматов. Их переписка в это время дает материал для характеристики взглядов Бодуэна на действительность царской империи. Так, 15 декабря 1914 г. он писал Шахматову: «Здесь то же самое, что и в большой тюрьме, называемой современным государством. Разница лишь количественная, а ничуть не качественная. И, пожалуй, во многих отношениях здесь как будто лучше: ясно, без обиняков, без лицемерия» [8. С. 24—25; 1. С. 144—145].

Слова Бодуэна, продиктованные отнюдь не только горьким настроением узника, говорили о постоянстве его убеждений, твердости принципов, трезвости восприятия им российской жизни. В свете этого тем более интересными и заслуживающими внимания представляются его анализ, оценки и прогнозы, связанные с таким значимым событием истории России, как революция 1905—1907 гг. Они дают материал для размышления относительно природы революционных катаклизмов в России, особенностей ее либеральных и демократических традиций, степени развития правового сознания, представлений о парламентаризме и т. п., позволяют придти к некоторым обобщениям, важным и в настоящее время.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Falkowicz S. Udział Nicisława Baudouina de Courtenay w życiu społeczno-politycznym Rosji na początku XX wieku//Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-polityczna Jana Nicisława Baudouina de Courtenay w Rosji. Warszawa, 1991.*
2. *Rózewicz J. Powiązania Jana Nicisława Baudouina de Courtenay z petersburskim ośrodkiem naukowym//Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-polityczna Jana Nicisława Baudouina de Courtenay w Rosji. Warszawa, 1991.*
3. *Baudouin de Courtenay J. N. Kwestia polska w Rosji w związku z innymi kwestiami kresowymi i «innoplemiennymi»//Baudouin de Courtenay J. N. Dzieła wybrane. Warszawa, 1983. T. 6.*
4. *Baudouin de Courtenay J. N. Mowa przy otwarciu Zjazdu autonomistów w Petersburgu//Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia. Warszawa, 1986. S. 167—168.*
5. *Baudouin de Courtenay J. N. Ze zjazdu autonomistów czyli przedstawicieli narodowości nie-rosyjskich w Petersburgu//Krytyka. Kraków, 1906. Z. 2. S. 110—122; Z. 3. S. 237—252.*
6. *Baudouin de Courtenay J. N. Myśli nieoportunistyczne//Dzieła wybrane. Warszawa, 1983. T. 6.*
7. *Шелохаев В. В. Кадеты — главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905—1907 гг. М., 1983. С. 94.*

8. *Леонтьев А. А.* Творческий путь и основные черты лингвистической концепции И. А. Бодуэна де Куртенэ//И. А. Бодуэн де Куртенэ. 1845—1929 гг. (К 30-летию со дня смерти). М., 1960. С. 21.
9. *Baudouin de Courtenay J. N.* W sprawie antysemityzmu postępowego//Krytyka, 1911. T. XXIX. Czerwiec. S. 319—320.
10. *Baudouin de Courtenay J. N.* Wychowanie współczesne jako stała przyczyna zdenerwowania//Dzieła wybrane. Warszawa, 1983. T. 6. S. 155.
11. *Baudouin de Courtenay J. N.* O zjeździe slawistów i o panslawizmie «platonicznym»//Dzieła wybrane. Warszawa, 1983. T. 6. S. 117, 122.
12. *Baudouin de Courtenay J. N.* Z państwa anarchii i chronicznego bezprawia//Krytyka. 1910. T. III. Lipiec — sierpień.
13. *Baudouin de Courtenay J. N.* Z ciemni wszechrosyjskiej//Krytyka. 1907. T. I. Z. 5. Maj.
14. *Baudouin de Courtenay J. N.* Epidemia krwiożerczości//Krytyka. 1909. Z. 6. Czerwiec. S. 366—370; *Baudouin de Courtenay J. N.* Z powodu zamachu na Stołypina//Krytyka. 1911. Z. 10. Październik. S. 128—138.
15. *Фалькович С. М.* Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907—1912). М., 1975. С. 118.



ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ В 1936—1939 ГОДАХ

Реформирование экономики является закономерным процессом, который, как правило, начинается вследствие определенных изменений в системе экономических отношений государства. Обычно действия по реформированию экономики происходят в результате экономических, социальных или политических потрясений, выступающих в роли своеобразного ускорителя.

В Польше таким ускорителем стал экономический кризис 1929—1933 гг., одним из следствий которого было возникновение новой формы управления экономикой со стороны государства в сфере промышленности. Речь идет о создании и применении *концепции инвестиционного стимулирования экономики*.

Следует отметить, что подобного рода программы существовали и ранее. Впервые проект программы инвестиционной политики был подготовлен в 1921 г. в связи с разработкой концепции так называемого Треугольника безопасности, предусматривавшей создание ряда оборонных предприятий в центре страны, достаточно удаленных от границ [1]. В этот район предполагалось включить восточную часть Келецкого и западную часть Люблинского воеводств, а также территории, расположенные в междуречье Дунайца, Вислы и Сана.

Вследствие отсутствия средств у частного капитала данную проблему пытались решить военные. В 1923—1927 гг. в соответствии с разработанной Министерством военных дел программой инвестиций Центральное управление военных заводов построило ряд предприятий в Варшаве и на территории Келецкого воеводства: в Пионках, Радоме, Скаржиске, Стараховицах. Средства для реализации данной программы были получены из казны, но их оказалось явно недостаточно для осуществления всей совокупности задач.

До начала экономического кризиса 1929—1933 гг. правительственные структуры так и не смогли разработать какой-либо общий план в сфере инвестиций, хотя для государства со слабым экономическим развитием они могли играть чрезвычайно важную роль.

Польские экономисты в тот период придерживались мнения, что кризис является следствием перепроизводства и решительно отвергали возможность осуществления любых инвестиций, направленных на увеличение производства, которые по их мнению, могли способствовать углублению кризиса [2].

Подобные воззрения разделял И. Матушевский, один из авторов дефляционной политики в период кризиса, исполнявший обязанности министра финансов в 1929—1933 гг. Он считал, что «основной фактор, который должен быть взят на вооружение государством, стремящимся избежать отрицательных последствий колебаний экономической конъюнктуры, является сокращение инвестиций» [3].

Его взгляды, несомненно, оказали влияние на принятое Экономическим ко-

митетом Совета министров 12 февраля 1930 г. решение о создании специальной комиссии для контроля за инвестиционными программами государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, оно предписывало воздерживаться от осуществления новых государственных инвестиций, а также запрещало создание новых государственных предприятий, чьи функции могли быть выполнены частными. Любые отступления от этих положений должны были получать одобрение Совета министров.

Подобное отношение правительственных кругов к инвестиционной политике основывалось на убеждении, что, как и в развитых капиталистических странах, корни экономического кризиса лежат в перепроизводстве. Они не усматривали огромной разницы между экономической ситуацией, имевшей место в Западной Европе и Америке и в Польше, где она характеризовалась слабым развитием целых отраслей промышленности, которые можно было успешно развивать, не опасаясь углубления кризисных явлений.

Отсутствие единого инвестиционного плана привело к тому, что выделяемые инвестиции использовались для проведения работ общественного характера, осуществлялись в основном из Фонда труда и не соответствовали экономическим потребностям страны [4].

Вследствие недооценки правительственными кругами значения инвестиций для активизации производства, а также их резкого сокращения процесс индустриализации страны подвергся в годы кризиса определенному торможению. Если в 1929 г. инвестиции составили 1050 млн злотых, то в 1936 г. уменьшились до 350 млн злотых [5]. Большая часть этих инвестиций была направлена на строительство оборонных предприятий, судоверфи в Гдыне, а также химического завода в Мостицах, остальная израсходована нецеленаправленно [6].

Это обусловило необходимость серьезно осмыслить накопленный опыт и, сопоставив со стоящими перед страной задачами и используя теоретические разработки западных экономистов, выработать механизм, позволяющий избежать повторения ошибок. Необходима была программа целевых инвестиций, используемых по заранее разработанным планам.

Внесение в экономическую политику элементов планирования связано с именем Эвгениуша Квятковского, занимавшего видные посты в правительственных кабинетах Второй Речи Посполитой.

Квятковский родился 30 декабря 1888 г. в Кракове, в семье инженера-железнодорожника чиновника Яна Квятковского. В 1907 г. он закончил гимназию иезуитов в Бенковицах под Хировым. В том же году поступил в Политехнический институт во Львове на отделение технической химии, где его учителями были выдающиеся представители польской научно-технической мысли, среди которых необходимо отметить профессора Ст. Нементовского, известного своими трудами в области аналитической химии, а также профессора Т. Годлевского, опубликовавшего ряд научных исследований по общей физике. С 1910 г. Квятковский продолжил учебу в Мюнхенском Политехническом институте на химическом факультете, избрав специальностью изучение синтетических красителей. В 1912 г. он завершил учебу, получив диплом инженера-химика. В 1912—1913 гг. Квятковский проходил специализацию в Германии по методам получения синтетических красителей в лаборатории Г. Шульца, а также под руководством инженера А. Экеркунста, после чего в сфере его научных интересов оказалась технология химии угля.

В марте 1916 г. Квятковский пошел добровольцем в Польские легионы Пилсудского, а после образования в 1918 г. независимого Польского государства вступил в ряды Войска польского. Проходя службу в Главном управлении снабжения армии, он заинтересовался проблемами развития промышленности, в частности химической, опубликовав исследование под названием «Экономическое значение природного газа в Польше» [7]. В нем он обосновывал необходимость государственного регулирования газодобывающей отрасли с целью обеспечения рационального

использования месторождений газа в интересах национальной экономики как единого организма.

В 1921 г. после демобилизации Квятковский получил должность доцента на химическом факультете Варшавского Политехнического института, где читал лекции по химии угля и газам. Одновременно он был приглашен на работу управляющим государственной фабрикой по обработке дерева в Гайновке, где имел возможность ознакомиться со сложными проблемами функционирования госпредприятия в условиях инфляции 20-х годов.

В этот период Квятковский познакомился и начал тесно сотрудничать с профессором И. Мостицким, будущим президентом санационной Польши, который в 1923 г. предложил ему должность технического директора государственной фабрики азотных соединений в Хожове, что оказало значительное влияние на его дальнейшую профессиональную и политическую карьеру.

Своеобразной вехой в его научных изысканиях того периода стала монография «Задача химической промышленности в годы большой войны» [8]. В соответствии с постулатом «борьба является отцом всего», Квятковский считал, что хотя наличие природных богатств Польши и создает некоторые предпосылки для активной деятельности, необходимой для того, чтобы попасть в ряд экономически развитых государств, однако для этого следует создать серьезную инвестиционную программу для расширения базы перерабатывающей промышленности, использующей отечественное сырье. Он писал: «Основой для экономического и политического могущества развитых западных стран является их творческая работа, их потенциал и воля к преодолению трудностей и неизменного сопротивления жизни. Такую же творческую энергию должна извлекать из своего общества и современная Польша, когда, исходя из требований экономической политики государства, вырастают соответствующие направления деятельности» [8. S. 169].

Важным событием, открывшим перед Квятковским дорогу к большой политической карьере и приблизившим непосредственную реализацию его намерений, стало избрание 1 июня 1926 г. президентом Польши И. Мостицкого, который, стремясь использовать на ключевых должностях своих людей, назначил Квятковского 8 июня 1926 г. министром промышленности и торговли.

Одним из направлений деятельности Квятковского на этом посту стало создание новых государственных промышленных предприятий, крупнейшими из которых были авиационные заводы «Палюх» и «Окенч», фабрика карабинов «ПВУ», телерадиотехнические, оптические, автомобильные заводы и др.

Большое значение Квятковский придавал развитию концептуально-исследовательской базы для проведения экономической политики. Это нашло выражение в создании новых (для того времени) структур: Анкетной комиссии, Института по исследованию экономической конъюнктуры и цен, Института экспорта, а также в развитии научно-исследовательской программы Главного статистического управления.

Вследствие ухудшения экономической конъюнктуры, а также неудачной экономической политики, последний (1930) год на посту министра промышленности и торговли доставил Квятковскому много хлопот. В докладе, прочитанном 3 сентября 1930 г. во Львове на съезде промышленно-торговых палат, он сообщал об ошибках и сверхрасширении бюрократического аппарата, недостаточном развитии товарных отношений в аграрном секторе, резком падении экспорта, а также необходимости поддержания бюджетного равновесия и стабилизации валюты [9].

Кризис обусловил возникновение недоверия и критики в адрес министра, которого обвиняли в чрезмерном использовании инвестиций, ведущих к дорогостоящему импорту и образованию отрицательного торгового баланса. Наряду с этим возникли причины политического характера, препятствовавшие дальнейшему пребыванию Квятковского на посту министра промышленности и торговли. Маршал Ю. Пилсудский и его окружение, относившиеся к нему с известной долей недоверия вследствие его тесных контактов с представителями легальной

левой оппозиции, стремились добиться его отставки, чего в конце концов им и удалось достичь.

Работа на посту министра позволила Квятковскому непосредственно ознакомиться со многими проблемами функционирования экономического организма Польского государства. В последующий период (1930—1935), когда он вернулся к исполнению обязанностей директора фабрики химического завода, у него появилась возможность осмыслить накопленный опыт и, придав ему литературную форму, донести до общественности.

В 1931 г. была издана его книга «Диспропорции. Слово о Польше в минувшем и настоящем» [10]. В ней давались реалистические оценки социально-экономической отсталости страны, основным показателем которой Квятковский считал полуфеодалные отношения в сельском хозяйстве, а также говорилось о необходимости проведения аграрной реформы и интенсивной индустриализации. Критикуя пассивную позицию правительства по выходу из кризиса, он писал: «Анемия власти начинается изнутри, когда кости, нервы и кровь, составляющие ее организм, перестают быть жизнеспособными, активными и постоянно обновляющимися» [10. S. 263]. Будучи глубоко увлечен японским динамизмом, японской цивилизацией и культурой труда, Квятковский неоднократно подчеркивал, что «народ, обремененный внутренней враждой, никогда не победит» [10. S. 263].

В качестве мер, направленных на обновление социально-экономической политики, он рекомендовал: быстроту в принятии решений и последовательность в их реализации; уважительное отношение к общественному мнению; ограничение чрезмерной централизации власти, которая непременно порождает бюрократию и ведет к нарушению правовых отношений; изменение внешнеполитических приоритетов Польши и прежде всего в отношении Советского Союза, позитивный опыт которого в области экономического планирования следует использовать.

«Польша,— подчеркивал Квятковский,— не должна быть страной крикливого патриотизма при одновременном полнейшем игнорировании элементарнейших обязанностей по отношению к государству» [10. S. 284].

Концепция плановых инвестиций у Квятковского созревала постепенно. Вначале он принадлежал к числу противников метода экономического планирования, поскольку разделял взгляды сторонников либеральной модели развития экономики. Он считал, что плановая экономика подчиняет человека плану, предписывая ему исполнение четко ограниченных функций и убивая в нем стремление к индивидуализму. Кроме этого он опасался, что при реализации идеи плановой экономики не удастся избежать некоторых элементов стихийности [11].

Постепенно взгляды Квятковского претерпевали изменения. В труде «Современный кризис и направление восстановления экономической жизни», изданном в 1935 г., он уже констатировал: «В настоящее время мы являемся свидетелями того, как один за другим рушатся основные принципы либерально-капиталистической экономики... Правительства государств постепенно превращаются в своеобразную „генеральную дирекцию“ огромной и неприспособленной к управлению национальной экономики, вынужденные управлять статичным гигантом, стремящимся сохранить основы либеральной и индивидуальной экономики» [12].

Его новые, по сути, реформаторские взгляды могли найти воплощение лишь в условиях новой политической ситуации, начало которой можно связывать с кончиной Пилсудского весной 1935 г. С 13 октября 1935 г. и до сентября 1939 г. Квятковский занимал должности вице-преьера и министра финансов в двух последних правительственных кабинетах Второй Речи Посполитой.

Несмотря на имевшиеся сомнения, он объявил в Сейме уже 5 декабря 1935 г. о своем намерении разработать план государственных инвестиций на несколько лет. Признание необходимости введения элементов планирования в структуру экономической политики никоим образом не связывалось Квятковским с изменением основ социально-политического строя, о чем он и заявил: «В соответствии

со статьями действующей Конституции мы считаем, что базой экономического строя в Польше является «частно-капиталистическая экономика» [13].

7 февраля 1936 г. Совет министров утвердил первый инвестиционный план на 1936/1937 бюджетный год. В Бюджетной комиссии Сейма Квятковский определил сумму в 200 млн злотых, которая предназначалась для строительства шоссе и железных дорог, завершения строительства портовых сооружений в Гдыне, проведения электрификационных работ, а также строительства жилья для рабочих.

В одном из выступлений он также упомянул о том, что предполагается разработать 4-летний план на 1937—1940 гг., начало выполнения которого поставил в зависимость от будущих финансовых возможностей государства [14].

10 июня 1936 г. Квятковский представил в Сейме проект плана, предусматривавшего проведение работ на территории всей страны. В нем еще не говорилось о создании Центрального промышленного округа, а лишь о необходимости развития экономически отсталых районов страны. Министерство финансов выделяло на выполнение этого плана 1800 млн злотых. Несмотря на тот факт, что сумма была довольно значительной, правительство предполагало участие в этом проекте частного капитала [15]. Разработка правительством подобного проекта свидетельствовала о развитии теоретической мысли, но прежде всего была результатом последовательного курса экономической политики, проведение которого во многом стало возможным после июня 1926 г. Он явился логическим завершением процесса трансформации объективно необходимой хозяйственной деятельности государства в такую высокопродуктивную и осознанную форму управления экономикой, как планирование и целенаправленное инвестирование.

Наиболее важным последствием этого мероприятия явилась разработка основ планирования, которые были отражены в специальном документе — «Тезисах по выполнению четырехлетнего плана», в котором излагались фундаментальные направления инвестиционной политики на 1936—1939 гг. [16]. В соответствии с этим документом четырехлетний план должен был учитывать инвестиционные планы всех государственных предприятий и бюджетных инвестиций Министерства военных дел. Кроме того, он предусматривал выделение определенных сумм для ведения строительства органам самоуправления, а также одноразовых кредитов, предназначенных для Фонда труда [17]. План определял меры, направленные на значительную концентрацию средств и повышение ответственности отдельных хозяйственных ведомств (например, все кредиты на строительство дорог были сконцентрированы в Министерстве коммуникаций), в связи с чем значительно повышалась ответственность отдельных министерств за выполнение соответствующих пунктов четырехлетнего плана.

В качестве исходного пункта план предусматривал выполнение полного замкнутого цикла инвестиционных работ, результаты которого должны были значительно улучшить экономическую ситуацию в стране и создать благоприятную конъюнктуру. Основная роль в плане отводилась проведению работ по электрификации, улучшению коммуникационных связей, а также регулированию оборота сельскохозяйственных товаров отечественного производства. Следует отметить, что в плане особо подчеркивались социально-политические последствия намечаемых работ и прежде всего ликвидация безработицы, в особенности в регионах с высоким уровнем социальной напряженности. Ответственность за проведение данной совокупности работ была возложена на Министерство социальной опеки.

В соответствии с планом существенно возрасла роль министра финансов, отвечавшего за координацию планов отдельных ведомств, а также за проведение технического и финансового контроля за ними. С этой целью в рамках министерства создавался специальный орган — Бюро контроля и финансирования инвестиционного плана, который был наделен широкими полномочиями.

Искусственное создание благоприятной конъюнктуры при помощи соответственной инвестиционной политики не повторяло механизмы, используемые в США и Западной Европе. Разработанные польскими специалистами инвестици-

онные планы в первую очередь учитывали слабое экономическое развитие и структурные изъяны национальной экономики. Именно с учетом этих особенностей первый вариант четырехлетнего плана предусматривал инвестирование работ, выполнение которых предполагало, с одной стороны, привлечение большой массы рабочих, а с другой — улучшение инфраструктуры.

Экономическая конъюнктура создавала благоприятные условия для досрочной реализации четырехлетнего плана, что позволило Э. Квятковскому уже в декабре 1938 г. выдвинуть на пленарном заседании Сейма проект плана экономического развития Польши на ближайшие 15 лет. Он охватывал период с 1939 до 1954 г. и подразделялся на пять этапов, каждый из которых предполагалось посвятить выполнению определенной приоритетной экономической задачи. Для этого предусматривалось использовать 60% суммы, выделенной на каждый этап. Очередность выполнения задач распределялась следующим образом:

- 1) 1939—1942 гг. — развитие оборонной промышленности;
- 2) 1942—1945 гг. — инвестиции, направляемые на развитие инфраструктуры: строительство шоссе и каналов, завершение строительства портового комплекса в Гдыне, развитие автотранспорта и гражданской авиации;
- 3) 1945—1948 гг. — развитие народного образования и сельского хозяйства;
- 4) 1948—1951 гг. — развитие городов и индустрии: крупные инвестиции в социально-культурную сферу;
- 5) 1951—1954 гг. — унификация экономической структуры страны: постепенное стирание границ между Польшей А и Польшей Б [18].

Выполнение первых трех лет инвестиционного плана началось в апреле 1939 г. на основании принятого в феврале закона, уполномочивавшего министра финансов распоряжаться в данный период суммой в 2 млрд злотых, 60% которой было предназначено для Фонда национальной обороны. [19]. Под влиянием политической ситуации в инвестиционный план на 1939—1940 гг. были внесены изменения. В связи с усилением военной угрозы Министерство финансов признало целесообразным ограничить инвестиции в необоронные отрасли экономики в пользу их увеличения на военные цели при одновременном ускорении темпов их реализации [20].

Поскольку предусматривалось, что инвестиции на оборонные цели следует рассматривать отдельно и выделять соответствующие суммы Министерству военных дел [21], то параллельно с развитием процесса планирования инвестиционных расходов в гражданские отрасли экономики подобный процесс начался и в военной области. Однако следует подчеркнуть, что его корни следует искать в тех обширных задачах оборонного характера, выполнения которых добивались армейские круги, а также в том факте, что большая часть необходимого вооружения по-прежнему импортировалась из-за границы [17].

В марте 1936 г. в польском Генеральном штабе был разработан проект реорганизации вооруженных сил, основой которого должен был стать шестилетний план модернизации технического оснащения, армии, военно-воздушных сил и создания запасов амуниции на 1936—1940 гг. [22]. Его финансовой базой предполагался созданный 9 апреля 1936 г. на основании распоряжения президента специальный Фонд национальной обороны [23]. Месяц спустя был создан Комитет обороны Речи Посполитой, компетенция которого включала рассмотрение соответствующих оборонительных концепций, разработку на их основе рекомендаций для правительства и координирование действий различных органов государственной власти в этой сфере. Комитет был призван также решать вопросы, связанные с размещением инвестиций для оборонной промышленности. Его председателем являлся президент страны, а членами — премьер-министр Ф. Славой-Складковский, министр финансов Э. Квятковский, министр военных дел Т. Каспшитский, министр иностранных дел Ю. Бек и министр промышленности и торговли А. Роман [24. № 28. S. 225].

Принятый комитетом шестилетний план реорганизации вооруженных сил предусматривал инвестиции в сумме 6 млрд злотых, из которых 1200 млн

предназначались на модернизацию вооруженных сил, а 800 млн на создание противовоздушной обороны. Предполагалось, что ежегодно для реализации плана кроме обычных расходов Министерства военных дел, предусмотренных бюджетом, будет выделяться 1 млрд злотых [24. № 36. S. 286]. Следует отметить, что осуществить этот план было невозможно без форсирования темпов развития польской оборонной промышленности, да и возможности закупать вооружение за границей с каждым годом сокращались.

Учитывая это, в июле 1936 г. в Генеральном штабе был разработан план развития оборонной промышленности, предусматривавший в 1936—1942 гг. инвестирование около 180 млн злотых в строительство ряда предприятий на юге страны в районе Тарнова, Мельца, Ниска и Санока. была создана также программа развития предприятий по переработке сырья, предусматривавшая строительство в «Треугольнике безопасности» металлургических и химических заводов для нужд военной промышленности».

Одновременно с Генеральным штабом собственную концепцию развития оборонной промышленности представила группа высокопоставленных государственных чиновников во главе с Э. Квятковским. Она предусматривала создание центрального промышленного округа [25]. Данный факт объясняется тем, что вариант этой группы предполагал решение задач в военной области во взаимосвязи с развитием инфраструктуры и гражданских предприятий. В основе концепции лежало распоряжение президента 1928 г. о налоговых льготах в «Треугольнике безопасности». Программа создания ЦПО в начале 1937 г. дополнила первый вариант четырехлетнего плана, что явилось причиной увеличения инвестиций со 180 млн злотых до 2400 млн [26]. План развития ЦПО хотя и включал в себя осуществление капиталовложений на военные цели, но все же предполагал проведение инвестиций, экономически необходимых прежде всего в сфере электрификации и коммуникаций, что было в решающей степени обусловлено позицией Квятковского.

Э. Квятковский не принадлежал к числу сторонников политики увеличения производства вооружения и считал, что инвестиции, предназначенные для этой цели, не давали соответствующей гарантии продолжительной благоприятной конъюнктуры [27]. Несмотря на подобное критическое отношение, проблема производства вооружений рассматривалась в выступлениях министра финансов в качестве необходимого условия для выполнения инвестиционной программы [28]. Это противоречие можно объяснить тем, что с точки зрения развития экономики инвестиции, направляемые на вооружение, приносили меньше пользы, чем инвестиции в усовершенствование инфраструктуры. Вместе с тем ухудшение и без того чрезвычайно напряженного международного положения требовало увеличения расходов на усиление обороноспособности Польши. Однако, по мнению Квятковского, более предпочтительными для польских условий было бы придание им полезного характера, т. е. чтобы они, будучи использованы на строительство автострад стратегического значения, железнодорожных линий для нужд армии, дорог, мостов, предназначенных для движения тяжелой техники, и т. д., могли служить и народному хозяйству.

Сдержанное отношение Э. Квятковского к увеличению инвестиций в военную сферу вызывало недовольство среди армейской верхушки, что нашло отражение в «Памятной записке» начальника Генерального штаба генерала В. Стахевица от 22 декабря 1936 г., адресованной премьер-министру В. Славой-Складковскому. В этом документе Квятковскому вменялось в вину недооценка значения инвестиций в военную сферу. Одновременно в нем содержалась оценка, даваемая армейскими кругами роли государства в экономическом развитии страны, и, несмотря на поощрительное отношение Министерства финансов и Министерства промышленности и торговли к частному капиталу, высказывалось пожелание, чтобы оборонные инвестиции осуществлял исключительно государственный капитал [29].

Выработка широкомасштабных инвестиционных программ была выражением

господствовавших в Польше тенденций, направленных на создание долговременной благоприятной конъюнктуры, а также свидетельствовала о практическом применении теоретических разработок Д. М. Кейнса. К числу его сторонников можно отнести и Квятковского, хотя следует признать, что он с большой осторожностью относился к инвестиционному финансированию с использованием инфляционных методов.

Особенностью польских инвестиционных планов данного периода следует считать их регионализм. Э. Квятковский считал, что региональные планы не имели шансов на успех в высокоразвитых государствах Западной Европы, поскольку для них было характерно равномерное промышленное развитие различных областей. Он считал, что инвестиции, размещаемые в неразвитых в экономическом отношении территориях, оказывают влияние на увеличение национального дохода больше, чем размещаемые в экономически развитых районах.

Несмотря на определенные отличия и специфические черты, инвестиционное планирование в Польше основывалось на необходимости вмешательства в течение конъюнктурного цикла. Одно время даже было распространено мнение о необходимости «чрезвычайного инвестиционного резерва», который бы играл роль своеобразного регулятора данного цикла. Предусмотренный планом инвестиционный резерв, имевший общехозяйственный характер, должен был использоваться в случае резкого ухудшения конъюнктуры [29].

Таким образом, в результате экономического кризиса 1929—1933 гг. в методах госрегулирования экономики Польши произошли значительные изменения, суть которых заключалась в использовании качественно новых форм. Среди них необходимо прежде всего отметить инвестиционное стимулирование с использованием элементов планирования, позволявшее наиболее полно реализовывать имеющийся в стране социально-экономический потенциал.

Идея и воплощение этого новшества тесно связаны с именем Э. Квятковского, который сумел творчески переработать опыт западных экономистов и применить их в условиях Польши.

Возникновение такой формы государственного регулирования как инвестиционное стимулирование с использованием элементов планирования свидетельствовало о логическом завершении процесса развития методов государственного регулирования. И хотя реализация намеченных программ была прервана на долгое время, многие разработанные принципы планирования затем использовались польскими экономистами в послевоенный период.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Materiały do zagadnienia przemysłu wojennego w Polsce w latach 1919—1939//Niepodległość. 1958. T. 6. S. 179—182.
2. *Kozieradzki W.* Plan Centralnego Okregu Przemysłowego. Warszawa, 1937. S. 7—8.
3. *Matuszewski I.* Próby syntez. Warszawa, 1937. S. 265—266.
4. *Archiwum Akt Nowych.* Komitet Ekonomiczny Ministrów. T. 491. Uchwała KEM z dn. 12.II.1930 r. w sprawie powołania komisji do kontroli programów inwestycyjnych instytucji państwowych.
5. *Mały Rocznik Statystyczny.* Warszawa, 1939. S. 39. Tab. 29.
6. *Rakowski J.* Problemat przebudowy gospodarczej Polski. Warszawa, 1937. S. 13.
7. *Roboty Publiczne.* 1920. № 2.
8. *Kwiatkowski E.* Zagadnienia przemysłu chemicznego na tle wielkiej wojny. Warszawa; Lwów, 1923.
9. *Kwiatkowski E.* Tendencje i postulaty rozwoju gospodarczego Polski. Warszawa, 1930.
10. *Kwiatkowski E.* Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej. Kraków, 1931.
11. *Kozuchowski J.* Przebudowa, gospodarcza Polski. Warszawa, 1938. S. 8.
12. *Kwiatkowski E.* Kryzys współczesny i zagadnienia odbudowy życia gospodarczego. Warszawa, 1935. S. 13, 15.
13. *Kwiatkowski E.* Nowe zjawiska i prądy u podstaw współczesnego życia gospodarczego//Księga pamiątkowa ku czci L. Caro. Lwów, 1935. S. 246.
14. *Kwiatkowski E.* W walce z teraźniejszością o lepszą przyszłość gospodarczą. Warszawa, 1935. S. 42—43.
15. *Kwiatkowski E.* Przemówienie na Komisji Budżetowej Sejmu ogłoszone w dn. 3.II.1936 r.//Polska Gospodarcza. 1936. T. XVII. S. 186; *Drozdowski M.* Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936—1939.

16. *Kwiatkowski E.* Przemówienie w Sejmie w dn. 10.VI.1936//*Polska Gospodarcza*. 1936. T. XVII. S. 665.
17. *Archiwum Akt Nowych*. Ministerstwo Skarbu. T. 5. Tezy w sprawie wykonania 4-letniego planu inwestycyjnego.
18. *Ciechocińska M.* Próby walki z bezrobociem w Polsce międzywojennej. Warszawa, 1965. S. 79.
19. *Kwiatkowski E.* Przemówienie na plenum Sejmu w dn. 2.XII.1938//*Gazeta Gospodarcza*. 1938. T. 19. S. 1755.
20. *Archiwum Akt Nowych*. Ministerstwo Skarbu. T. 3. Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Skarbu. № 1. Marzec 1939. S. 14.
21. *Archiwum Akt Nowych*. Ministerstwo Skarbu. T. 5. Plan inwestycyjny 1939/1940.
22. *Kozłowski E.* Wojsko polskie 1936—1939. Warszawa, 1974. S. 26—27.
23. *Grabowski T.* Inwestycje zbrojeniowe w gospodarce Polski międzywojennej. Warszawa, 1963. S. 121.
24. *Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej*. 1936.
25. *Polskie siły zbrojne w II wojnie światowej*. London, 1951. T. I, cz. I. S. 171.
26. *Ivanka A.* Wspomnienia skarbowca 1927—1945. Warszawa, 1964. S. 105.
27. *Kwiatkowski E.* Przemówienie na posiedzeniu Komisji Budżetowej Sejmu w dn. 5.II.1937//*Ku przebudowie gospodarczej*. Warszawa, 1937. S. 7—10.
28. *Kwiatkowski E.* Przemówienie w Komisji Skarbowej Sejmu w dn. 2.I.1937. Warszawa, 1937. S. 47.
29. *Najnowsze dzieje Polski 1914—1939*. Warszawa, 1967. T. 9. S. 231—232.



© 1995 г. ЛИХАНЬСКИЙ Я. З.

МЕССИАДА ВЕСПАСИАНА КОХОВСКОГО

В истории польской культуры и литературы эпоха барокко, пожалуй, таит в себе наибольшее количество исследовательских проблем (см., в частности, [1]). Тому есть много причин — и те из них, которые будут названы ниже, конечно, не исчерпывают всего их списка, но представляются наиболее существенными. Первая проблема — длительность этой эпохи (а также стиля в искусстве и в жизни), границы которой тянутся от конца XVI в. до первой половины XVIII в. Некоторые исследователи склонны связывать конец эпохи еще с поэзией Барской конфедерации. Вторая проблема — интегрирующий характер барочной культуры. С этим связано и следующее: очень высокая степень сложности этой культуры.

Лишь на первый взгляд мы можем выделить в барокко три течения: 1) классическое, 2) маньеристское и 3) соединяющее в себе оба первых. В случае такого рассмотрения эпохи мы утрачиваем из поля зрения, например, совизжальскую и плебейскую литературы, оставляем в стороне столь сложное явление, каким была народная литература барочного периода. Тем временем можно указать поэтов, в творчестве которых явно присутствуют отзвуки претворенных народных произведений (например, Ш. Шимоновиц, Я. Жабчиц или братья Зиморович). Неожиданно и в наследии Веспасиана Коховского обнаруживается произведение, которое свидетельствует о взаимопроникновении народной (или, говоря осторожнее, — популярной) литературы с так называемой высокой. Этим произведением является написанная в 1676 г. одновременно с «Девичьим садом» («Ogród panieński») поэма «Страдающий Христос» («Chrystus cierpiący według textu Ewangeliey świętej, przy zabawie Postnej wierszem polskim wystawiony»¹).

Некоторые исследователи связывают оба произведения с личными обстоятельствами жизни поэта — болезнью и смертью жены. Р. Пилат и А. Брюкнер сочли их проявлением дурного вкуса и испорченного стиля конца XVII в., более благосклонной была оценка Р. Полляка, Ч. Хернаса, Е. Старнавского. Лишь Ч. Хернас отметил художественные достоинства СХ, определив поэму как мессиаду [2].

Содержание поэмы сводится к описанию мученичества Христа с момента Тайной Вечери до положения во гроб (Ч. I—XV). Текст обрамлен апострофой — вступлением — реминисценцией 2 Послания апостола Павла к Коринфянам (6: 2 — *Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis* — Вот, теперь время

Якуб Зыгмунт Лиханьский — д-р филол. наук, сотрудник Национальной библиотеки в Варшаве.

¹ Так поэма названа в рукописи, хранящейся в Национальной библиотеке в Варшаве (grs aks 9834. ВЛW 848), и в первом издании (Краков, 1681). Далее в тексте название дается сокращенно: СХ.

благоприятное, вот, теперь день спасения) и заключением, рукопись снабжена также краткой латинской заметкой об авторе и времени создания произведения.

Трудно поэтому признать поэму Коховского за мессиаду в строгом смысле слова, поскольку она повествует исключительно о смерти Христа и представляет собой стихотворные страсти Господни. Тема искупления мира через страдания и смерть Христа проводится главным образом во вступлении. Цель автора, однако, — воззвать к совести читателя, чтобы, размышляя о страстях Господних, величии жертвы, он осознал безмерность своих грехов и необходимость исправления жизни:

Nie tylko z srogi(?)
Naszeć to złości:
Podźmy z ochotą
Padszy na ziemię

Jest synagogi
Takiej srogości
Na wierzch Golgoty
Posypmy ciemię

Tej śmierci wina
Wielka przyczyna.
Wespół z Kościołem
Skruchy popiołem.²

Как в наследии автора «Польской псалмодии», так и в рамках эстетического канона эпохи произведение не представляется чем-то исключительным. В истории европейской литературы трудно найти эпоху, в которой религиозная тематика не занимала бы важного места. К эпохе барокко это относится в еще большей степени, ибо особо существенную роль в XVII в. играла конфессиональная, спиритуалистическая (это понятие шире, чем религиозная) литература. Религиозная тема позволяла затрагивать общие проблемы, касающиеся смысла жизни человека, ее цели и предназначения, находить пути упорядочения мира, который, в ощущении многих, становился все более хаотичным (ср., например, [3—8]).

В наследии Коховского религиозная тематика занимает существенное место, о чем свидетельствуют, помимо уже упоминавшихся, и многие произведения сборника «Польская лирика» («Liryka polskie», 1674) и «Четки Пресвятой Девы Марии» («Różaniec NPM», 1668), где присутствуют мотивы, развернутые впоследствии в СХ (вина человека в сознательном преступлении божественного закона, убежденность в греховности человеческой природы, мученичество, смерть Христа).

Исследователи СХ видели недостатки поэмы в смешении возвышенного с тривиальным, в стилистической неоднородности, в наличии концептов, вызывающих в сегодняшнем читателе смешанные чувства, в беспомощности, напоминающей народные или относящиеся к популярному плебейскому течению произведения на данную тему. Необычны ли эти черты поэмы для творчества Коховского, для его эпохи?

Чтобы полнее ответить на этот вопрос, следует обратиться хотя бы к репертуару польской религиозной литературы периода барокко или к старопольской драме (ср. [9—12; 13. Т. 1. S. 18, 47—53, 66]). В канционалах, а также в таких произведениях, как «Битва кровавая воюющего Бога», «Диалог на страстную Пяницу», «Драматическая опера о муках Христа» или «Муки Господа нашего Иисуса Христа» содержатся определенные элементы, которые обнаруживаются в СХ, например, типичные для популярной литературы изображения мученичества и смерти Христа, пренебрежение исторической достоверностью и своеобразное осовременивание пасхальных событий, особенно соединение возвышенности с комизмом (намеренным или невольным). Здесь следует упомянуть и достаточно близкую в тематическом отношении к СХ поэму В. Потоцкого [14. S. 553—597], хотя она несравненно более обширная и мессианская по своей тональности.

На фоне тенденций эпохи произведение Коховского не исключение. Оно относится к духовной литературе, при этом обнаруживая отголоски народной религиозности. В нем подчеркнута актуализированы муки Христа и акцентирована несообразность величия жертвы и ничтожности человека, во имя которого эта

² Таково расположение стихов в автографе и первом издании. Далее текст приводится в соответствии со схемой, принятой с издания Я. К. Туровского (Краков, 1859).

жертва принесена. Это сближает СХ с жанром чрезвычайно популярных в XVII в. плачей и страстей.

Общей чертой упомянутых произведений и СХ является также однозначная нравственная оценка представляемых событий и стремление к завершающей морали:

Bo któż pokorze
Miejsce przy dworze
I dzisiaj widzi?
(...)
Trudnoż przy dworze
Być w jednej sforze
Z występki cnoście. (СХ, VIII)

Впрочем, моральные оценки такого типа являются известным, достаточно постоянным топосом очень давнего происхождения, его следы легко найти уже в античной литературе. Вместе с тем присутствие в этом и в других произведениях топики этого типа свидетельствует скорее о ее постоянстве, а не о намеках на современность³. Можно сказать, что негативная оценка мира как «ярмарки тщеславия» как раз типична для литературы с однозначной этической или, точнее, религиозной установкой.

СХ свидетельствует как о «духе времени», в которое он был создан, так и о личности Веспасиана Коховского. Это произведение укрепляет нас в убеждении, что его создатель был религиозным человеком, искавшим для выражения своих убеждений различные средства. В «Лирике», а позднее в «Псалмодии» он стилизовал псалмы для достижения очень личной, а вместе с тем патетической интонации. В СХ он стремился к простоте, не чуждой вместе с тем глубокой рефлексии (о чем ниже).

СХ также хорошо вписывается в рамки барочной поэтики концепта. Простота, местами даже грубоватость соседствуют с возвышенностью, с изысканной метафорикой, с богатством художественных средств (добавим — часто достаточно внешним), со сменами положений лирического субъекта (повествователя?). Подробнее эти проблемы рассматриваются ниже, здесь они упомянуты с целью подчеркнуть не столько отличие, сколько скорее типичность этого произведения. Итак, обратимся к его построению.

В содержательном отношении произведение, как уже упоминалось, включает в себя следующие части: I — «Господня Вечеря», II — «Вертоград», III — «Понятие Господа Иисуса», IV — «Анна», V — «Каиафа», VI — «Утро», VII — «Пилат», VIII — «Ирод», IX — «Снова Пилат», X — «Бичевание», XI — «Коронование», XII — «Приговор», XIII — «Путь на гору Кальварию», XIV — «Христос умирает», XV — «Пронзание бока». Такая последовательность достаточно точно соответствует музыкальным и театрализованным представлениям страстей. В изложении материала поэт следует за Евангелием от Луки, лишь в незначительной степени используя тексты других евангелистов⁴. Таким образом, Коховский обращается здесь к известному образцу, популярному со времен средневековья. Само название произведения подчеркивает его окказиональный характер — «przy Zabawie postnej...wystawionu». Можно предположить, что произведение создавалось для страстного представления. Если наше предположение верно, тем самым объясняется и специфический подход поэта к теме и ее разработка.

Следует отметить, что моралите и мистерии, устраивавшиеся в пасхальный период, были популярны и в XVII в. Они представляли собой своеобразное «дополнение» к литургии, ее популярное «изложение». Особое значение имел

³ Приведем один, но очень показательный пример: в «Поэзии святого поста» 27(17) Ст. Г. Любомирского этот мотив весьма выражен.

⁴ Отдельные части поэмы представляют собой расширенное изложение следующих фрагментов Нового Завета: вступление — Послание к Коринф. 6 : 2; Ч. I—III — Лк 22, 7; Ч. IV—V — Иоанн 18, 13; Ч. VI — Мтф 26, 3—4; Ч. VII—IX Лк 23, 1—7, 11; Ч. X—XI Иоанн 19, 1, 2; Ч. XII — Лк 23, 24—25; Ч. XIII Иоанн 19, 17; Ч. XIV Марк 15, 37; Ч. XV Иоанн 19, 34.

здесь именно нравоучительный фактор — своеобразный катарсис для слушателей, которым напоминали о необходимости изменить грешную жизнь.

Таким образом, СХ, с одной стороны, связан с давней традицией подобных произведений, создаваемых к пасхальным празднествам, с другой — явно обращен к народной обрядности. Это подтверждает, в частности, и выбор версификации. СХ написан пятисложником, строфа состоит из шести стихов с трохеично-амфибрахическим метром и представляет собой мелический тип с расположением рифм *aavssv*. Поэт обращается к традиции народной песни, в частности, плача, хотя этот род версификации не связан исключительно с данным типом произведений (ср. [15—17]). Подобные примеры в поэзии XVII в. встречаются в таких произведениях, как «Ангельские симфонии» Я. Жабчица, т. е. либо обращенных к народной традиции, либо непосредственно ее запечатляющих (ср. [18; 19]). Особой проблемой, которую здесь придется лишь обозначить, является вопрос, поднятый уже З. Яхимецким и касающийся музыкальной стороны «Симфонии» ([20], ср. также [21]). Наблюдения исследователя позволяют сделать осторожное предположение, что этот версификационный тип соответствовал определенному музыкальному образцу. Это предположение подтверждается более ранними выводами Л. Голембевского, касающимися польской народной поэзии и ее версификационной и музыкальной структуры [22]. Однако следует обратить внимание на тот факт, что пятисложный стих зачастую является не единственным (например, в рассматриваемой поэме), но чаще всего соединяется с более длинными стихами.

Стоит отметить, что с пятисложным стихом мы имеем дело также и в высокой поэзии, в частности, у Я. Кохановского — во фразках «К Яну» (II, 18) и «На здорвье» (III, 54). Коховский мог использовать этот тип стиха, обращаясь к авторитету «князя поэтов» (ср. [23]). Нельзя не упомянуть, что и его современник В. Потоцкий, хотя и редко, но все же пользовался этим размером (например, песни LIV цикла «Разные песни» («Pieśni różne»)). Еще более существенно, что это стихотворение «созвучно» тональности произведения Коховского и по своему характеру [14. S. 471—474].

Таким образом, выбор типа версификационного образца не предопределяет однозначно его связи с народной традицией. Скорее следует признать, что для польской литературы того времени он не был чем-то редким и удивительным. Я подчеркиваю этот факт, поскольку Р. Пилат, например, считает именно выбор версификационной схемы своеобразной ошибкой поэта. Представляется, однако, что этот выбор был продиктован лишь простотой и популярностью образца⁵. Следует обратить внимание и на тот факт, что преобладание трохеев и амфибрахий над другими стопами значительно: первых — 85%, вторых — 83%. Наиболее же поразительно то, что несмотря на очень короткий срок, перенос встречается довольно редко. Тут сразу возникает достаточно принципиальная проблема — имеем ли мы дело с пяти- или пятнадцатисложным стихом? В рукописи и в авторском издании структура стиха выглядит именно как 5 + 5 + 5, а не как трех- или шестистишная пятисложная строфа. Однако представляется, что именно этот второй вариант — единственно верный. Чтобы решить проблему, следует ответить на вопрос, касающийся строения периода в поэме.

Эта проблема кажется достаточно простой. В качестве примера обратимся к началу части I:

Gdy przyszedł roczny
Fest wielkanocny
Święta praśników,
Według zwyczaju
Onego kraju
Sle zwolenników.

⁵ Этот тип версификации мы встречаем уже в средневековой польской литературе (ср. [24]); в XVII в. он присутствует в [13, Т. 2. S. 607—608; 9. S. 1—130].

Do jednej sali,
By zgotowali
Paschę Mistrzowi,
Znieśli potrzeby,
Wina i chleby
Pełnią gotowi.

Текст СХ строится так, чтобы стих соответствовал комме; колон построен из трех комм, а период — из двух колонов. Иногда эта схема расширяется так, что период складывается из трех, редко — из четырех колонов. Такая схема покрывает строфическое строение, следовательно, мы имеем дело даже с монотонной регулярностью. Примеры переноса и ломки регулярности редки, порой они приводят к неясности стиха, например:

Lecz sprawie na tej
Mało, że w szaty
Te ustrojony (CX, IX).

Здесь дана довольно эффективная инверсия; построение колона должно быть следующим: «*lecz mało na tej sprawie*». Однако иногда переносы удачны и эффективно разрушают монотонность, как, например, в части XI: *Dając tytuły/Królewskie temu/Skatowanemu;/On ich nieczuły*.

В целом строение поэмы (несмотря на приведенный пример) довольно монотонно, что дополнительно усиливается схемой рифмовки. Итак, в области версификационного, синтаксического и периодического строения поэма не отличается особой искусностью. Скорее напротив — что, впрочем, также может быть сознательным замыслом художника. Представляется также, что тем самым мы разрешили сомнение относительно версификационной структуры поэмы в пользу строфической пятисложной трехстишной схемы⁶. Соблазнительный образ пятнадцатисложного дистиха следует признать если не ошибочным, то весьма сомнительным (признание его потребовало бы «согласия» на постоянную внутреннюю рифму и подвижную цезуру). Трудно указать и удовлетворительное теоретическое обоснование такого типа стихотворного размера (в польской поэзии XVII в.). Используемые поэтом художественные средства не обнаруживают излишней барочной пышности. В глаза бросается даже определенная строгость, чтобы не сказать — простота образов. Тем большее впечатление производят поэтому немногочисленные метафоры: *Jak róży owej/Kwiat purpurowy/Ścisniony głógiem,/Tak między Żydy,/Pełen ohydy/Stoi przed progiem* (CX, VII). Этот образ используется и еще раз: *Jak róża w sadzie,/Chyląc się kładzie,/Kiedy usycha,/Tak zawarł mowę, Gdy świętą głowę/Ku ziemi zleóżył* (CX, XIV).

Образ Христа-розы встречается и в очень пространной метафоре:

Córo Oliwna,/Jako cię dziwna/Rosa skropiła,
Byś na swem polu,/Miasto kąkolu/Róże rodziła./
Czasy te były,/Że gdzie stąpiły/Heroów nogi,/ Tam zaraz śliczne/Róże rozliczne/Wiły kwiat błogi./
Rzec-li mam szczerze,/Twą bohaterze/Krwią zlane grzedy,/ Róża z liliją/Kwiat swój rozwija/Krew pryśnie kędy.

(CX, II).

В изображении Коховского переплетаются мотивы различного происхождения. В первых двух трехстишиях содержится намек на притчу о плевелах (Матф. 13, 24—30), следующий известный с древности мотив связан с представлением (видимо, еще языческим) о росе как дарительнице жизни (роса здесь — кровь Иисуса), более изысканный мотив основан на сравнении крови Христа с пшеницей, из которой вырастет хлеб спасения. Возможность такой интерпретации

⁶ Возможно, неким образом для поэта могла быть и так называемая строфа *Stabat Mater* — шестистишная, с рифмовкой *aabccv* (ср. [25]).

поддержана упоминанием в части I о создании во время последней Вечери таинства причащения.

В двух следующих строфах упоминается легенда о розах (или вообще прекрасных цветах), вырастающих там, где пройдет герой или святой человек⁷. Здесь стоит обратить внимание на соединение мотивов двух цветов — розы и лилии: среди их разнообразных значений есть и идентичные, связанные с образом Христа, объединяющие черты мученичества, возвышенности и невинности; они же являются атрибутами великих героев. Несмотря на то, что мотив цветочной аллегории не нов, следует признать, что Коховской придал ему свежий оттенок.

Поэт не пренебрегал и другими классическими образами:

Jak na Strymonie/Życia przy zgonie/Łabędź więc krzyczy,
Tak Pan hymn miłe/Na tej mogile/Śpiewa w słodyczy

(CX, II).

Это сравнение, будучи достаточно условным, тем не менее поражает своим пафосом. Следует учитывать, что лебедь всегда был птицей, символизирующей, в частности, мудрость (ср. [27. С. 40—41]).

Однако, помимо этих в целом традиционных или скорее достаточно обычных художественных средств, специфической особенностью СХ являются многочисленные бытовые или жанровые сцены, уже отмеченные Ч. Хернасом.

К числу наиболее эффектных сцен относятся две беседы Христа с Петром и сцена, в которой Петр отрекается от Христа (Ч. I, III и V). Драматургия третьей из упомянутых сцен подчеркивается не столько самим отречением, сколько комментарием повествователя, например:

Ej! Pietrze, wierę/Zmieniłeś cerę,/W kroku nie stoisz,
Że się kobiecej/Warząchwie/więcej/Niż miecza boisz./
Co zbrojnym Żydom,/Kopijom, dzidom,/Byłeś piorunem,
Gdzie twoja siła? Gdy cię zwalczyła/Prządka wrzecionem

(CX, V).

Кроме того, в этой сцене поражает употребление поэтом оборотов, которые можно отнести к поговоркам: *w kroku stać, zmienić cerę*⁸. Одновременно стоит обратить внимание на то, что именно этот фрагмент автор переработал, ибо в рукописном варианте в первой редакции вместо: *Ej! Pietrze* и т. д., стояло: *Sny kawalerze/Czem w zwykłej cerze/Piotrze niestoisz*. Уже в рукописи поэт исправил этот фрагмент так, как впоследствии опубликовал; новый вариант кажется более удачным, а благодаря восклицанию «*Ej!*» вводится дополнительный элемент напряжения и движения.

Интересны характеристики персонажей — Иуды, Пилата, Анны, Каиафы, Ирода. Так, согласно поэту, выглядит и ведет себя Анна:

Gdzie napuszysty/Pop on nieczysty/Z chucią powstanie;/
(...) Ten jaskrooki,/Rozparłszy boki,/Pana obryknie/

(CX, IV).

Следует признать, что такой персонаж годится скорее для народного представления, чем для столь драматичной картины мук и смерти Христа, которую воссоздаст Коховский, но вместе с тем такой образ первосвященника становится более живым. Сама же сцена суда у Анны получается благодаря этому более драматургичной; образ судьи и его отношение к узнику представлены однозначно.

Столь же драматично нарисована сцена у Каиафы, когда собравшиеся воспринимают ответ на вопрос, обращенный к Христу как богохульство:

⁷ Этот мотив был очень популярен в античной и средневековой литературе (см. [26; 27. С. 386—387]).

⁸ Родственные выражения (ср. [28; 29]).

Odpowiedź na tę/Rozedrze szatę/Z jadu nieczuły/
Pop on; a z chuci/O ziemię rzuci/Zę łba infuły./
Tym zapalony/Jadem szalony/Furyat iście,
Cóż więcej chcemy?/Błuzni, słyżemy,/Wszak ożywiście

(CX, V).

Обе сценки необычайно пластичны, при этом они целны и выразительны и не оставляют у зрителя (или слушателя) сомнений в нравственных оценках, установках, отношении к персонажам. Эти сцены напоминают сцены из мистерий или моралите, где персонажи также ведут себя в соответствии с ожиданиями аудитории (как, например, должен вести себя неправедный судья и т. п.).

Вместе с тем эти сцены проникнуты достаточно своеобразным юмором. Своеобразным, ибо персонаж ведет себя комично, хотя то, что он делает или говорит приведет к драматическим событиям.

Однако в поэме Коховского мы встречаемся не только с такими, в целом несколько ярмарочными, сценами. Вот великолепная, полная драматизма и подлинного пафоса сцена, в которой Богоматерь обращается к телу Сына, покоящемуся на ее коленях:

- Hej! Synu luby,/Któryż tak gruby/Błąd to zaśluzył/
Ze tej srogości,/Lud swej własności/Nad tobą użył;/
(...) Czy Synu złoty,/Oczy sieroty/Me się zmieniły?
Gdzież twe jagody/Ślicznej urody,/Co przedtem były?
Gdzie kształt twój w cudzie,/W którym nad ludzie/
Udatny byłeś?
(...) Terazę wysechł,/Język twój przysechł/Do podniebienia;/
Szyja zmęczona,/Głowa zbroczona/Zwiśła w ramienia,/
(...) Dziś tylko rany/Ach utroskany/Józef oddaje

(CX, XV).

Этот потрясающий, столь классический образ Пиеты предварен в поэме ретроспективным образом Благовещения:

W tym żalu pono/Rozważasz ono/
Poselstwo zgoła/Radzone w niebie,/Z którym do Ciebie/Słano anioła./
(...) Tenże to koniec?/Coć przyrzekł goniec,/Ze miał osiągnąć/
Sceptr w Izraelu,/I on do wielu/Granic rozciągnąć?
(...) Tu miecz ostrości/Matki wnętrzości/Srogo rozpiera,/
Kiedy w jedynym/Bojąc synem/Z nim wraz umiera

(CX, XIII).

Эти образы дополняют друг друга; при этом они наводят на мысль о произведении, которое могло бы быть их первоисточником — «Плач Богоматери у креста». Возможно, следовало бы также упомянуть «Стабат Матер», один из наиболее известных страстных текстов. В приведенных примерах со всей силой обнаруживается поэтическое искусство Коховского, который сумел использовать классические образцы и придать им новую, столь же драматическую, как и у них, выразительность. Примененный в приведенных фрагментах комплекс художественных средств достаточно богат (сравнения, антитезы, ирония, эпитеты, оксюморон), а вместе с тем использован чрезвычайно сдержанно. Полученный конечный эффект именно этой простоте обязан своей силой.

В приведенных здесь фрагментах поражает простота образов, проявляющаяся почти в протокольном характере описаний. Эпитеты лежат на поверхности, сравнения очевидны, антитезы почти банальны. Ирония, которая появляется в одном из приводимых фрагментов, «построена» очень просто. Подобных примеров в поэме можно найти значительно больше. Они свидетельствуют, по нашему мнению, о совершенно осознанном авторском замысле — стилизации простоты, если не сказать — народности.

Мы касаемся здесь очень сложной проблемы. Стилизация в художественной

практике Коховского не была чем-то новым или неожиданным. Не была стилизация и исключительным явлением в искусстве, особенно в эпоху барокко; скорее напротив — довольно распространенным. Более существенную трудность представляет проблема «стилизации народности». Прежде всего, сама категория — народность — очень неоднозначна. Представляется, что здесь следует подразумевать прежде всего обращение к образцам так называемой популярной, даже плебейской, литературы. Однако разве определенные созвучия «Ангельских симфоний» Я. Жабчица принадлежат лишь указанной традиции? Эта же трудность, даже в большей мере, возникает в связи с СХ.

Не пытаясь даже очертить столь сложную проблему как народность в культуре польского барокко и опираясь здесь на определенные утверждения прежде всего Ю. Кшижановского [30], Ч. Хернаса [31] и Я. С. Быстроны [12; 32], позволю себе указать на некоторые соответствия, которые можно заметить между популярными произведениями (их можно считать народными) и рассматриваемой поэмой Коховского. Укажем прежде всего плачи, поскольку тематика здесь сходна. Вот несколько показательных примеров с идентичной или весьма похожей ритмикой [9. Т. 22, 23, 27, 28]:

Uważ, grzeszniku,/Co dla twej złości,/Ucierpiął Jezus,/Ach w niewinności.
(...) Uważ, grzeszniku/Na niebo zawzięty,/Że za cię Chrystus/Na krzyżu
rozpięty./Drogim klejnotem,/Krwią, świat odkupuje,/Zbawienną miłość/
Śmierć swą męką truje.

(A. Hermanowicz. Uważ, grzeszniku).

Способ создания образа, его поэтического построения у Коховского и авторов плачей заметно сходны. Если мы обратимся к уже неоднократно упоминавшимся «Ангельским симфониям» Жабчица, то вновь обнаружится сходство именно в способе создания образа:

Panna przedwieczna/Była bezpieczna/Z Synaczka swojego,/Gdy Go
uwiodła,/W Egipt przywiodła/Dla Heroda złego.

(Symfonia, 10).

Добавим здесь же, что большинство поэтов не применяет исключительно пятисложного стиха, а старается соединять его с другими размерами. Коховский последователен и от принятого размера не отступает; однако указанный вопрос не является помехой в проводимом нами сопоставлении. Пожалуй, это еще более указывает на намеренную стилизацию своей даже назойливой простотой.

Можно возразить, что в поэме все-таки звучат отголоски эрудиции, что здесь много обращений к античности, мифологии. И да, и нет. Ведь эти обращения довольно банальны и очевидны, лежат на поверхности:

Tu Feb z Cyntyą/Swiatła pokryją/Swoich pochodni,
Erynnis wyje./Wściekłe Harpije/Skomlą w Awernie.

или хотя бы:

В первом примере — употребление конвенциональных названий Солнца и Луны, во втором — обращение к античным представлениям о пробуждении богов мести в тот момент, когда проливается кровь (особенно — невинная кровь). Приведенные примеры являются не демонстрацией эрудиции, а лишь обращением к определенным мотивам, которые должны усилить драматическую выразительность данной сцены. Более того, речь идет об обращении к неким, по мнению поэта, лексикализированным метафорам или конвенциализированным топосам, неуместность которых в связи с темой произведения даже не замечается.

Сказанное не противоречит признанию простоты в качестве одной из основных стилистических черт поэмы. Коховский, как представляется, ведет своеобразную игру с читателем; приведенные примеры свидетельствуют как раз о том, что

текст является не обычным плачем, а произведением художника, осознающего свое искусство⁹. Как во вступлении, так и в заключении Коховский говорит об этом открыто:

Więc autor, Tobie,/Zawarty w grobie/Jezu Chwalebny./Na co go staje,/Rytmic oddaje/I planki pogrzebny./Tyś moje wargi/Na smutne skargi/Panie otworzył,/Bym mąk twych srogich/Z ust mych ubogich/Lamenty tworzył.

Приведенное начало заключения проясняет несколько вопросов. Здесь автор явно указывает на плач, lament в связи с определением жанра произведения. Вместе с тем явно и обращение к двум другим традициям — к традиции, предписывающей художнику скромность («из бедных уст моих») и к традиции библейских псалмов и тренов, как к источнику духовного вдохновения (Бог, открывающий уста поэта). Таким образом, сам поэт указывает на двойной источник своего творческого вдохновения: определенную литературную традицию и потребность выражения религиозных чувств. Цель произведения очевидна: напоминая мистерию мук и смерти Христа, оно стремится склонить читателя к исправлению или изменению жизни.

Воспроизведение событий трех пасхальных дней имеет целью потрясти нравственное чувство читателя. Этому служит своеобразное «осовременивание» произведения путем придания ему не исторического, а сознательно построенного на общем опыте автора и читателя поэмы колорита. Поэтому, в частности, автор в части XV говорит не только о паломничествах в Святую Землю и особенно ко Гробу Господню, но также и о распространении христианской религии в мире. Упомянутый фрагмент поэмы кончается великолепным изображением всех народов земли, совершающих паломничество в Иерусалим: *Z za światów obu/Pójdą podróżni,/Ludzie nabożni,/Do tego grobu.*

Представленные здесь наблюдения неизбежно подводят к постановке двух вопросов: первый касается связей поэмы с литургией, второй — с театральными (в широком смысле слова) произведениями.

На первый вопрос следует ответить отрицательно. Непосредственных связей нет; содержательно поэма соответствует истории мученичества и смерти Иисуса, читаемой во время литургии в Вербное Воскресенье (в это время поется соответствующее место Евангелия от св. Матфея), а также в Страстную Пятницу (поется или читается Евангелие от св. Иоанна). По сравнению с обоими евангелическими чтениями разница небольшая, поэт не упоминает о страже, поставленной у гроба Христа. Композиция поэмы не соответствует ни одним из церковных служб или обрядов, связанных с литургией Великого Поста. Возможно усмотреть ее связь с характерным для Польши обрядом драматизированного поклонения Кресту уже после службы в Страстную Пятницу. Он начинался процессией, которая должна была напоминать Крестный Путь (ср. [33]). Возможно, с этим обычаем допустимо связывать генезис СХ.

Таким образом, ответ на второй вопрос несколько облегчается. СХ может рассматриваться как своеобразный «сценарий» некоего страстного представления. Прочитанные с этой точки зрения некоторые приведенные выше фрагменты поэмы (драмы?) — сцены у Анны и Каиафы, сцена Пиеты — приобретают новое значение. Здесь имеет смысл обратиться к одному знаменательному примеру. Анализируя «Краткую беседу» М. Рея, Е. Земек обратил внимание на то, что «в генезисе исследованиях следует принимать во внимание существование связей между некоторыми жанровыми разновидностями и *великолепными зрелищными жанрами*. Даже тогда, когда наши сведения исключают намерения и факт зрелищной реализации данного произведения» (выделено мною. — Я. З. Л.) [34].

⁹ На это указывает, в частности, опущенный в опубликованном варианте фрагмент из вступления («Inwokacja»): *Miasto sonców,/Padwan, motelów/Rzewne niech treny/Nieutulonem/Kwilą dziś tonem/Smutne Kamery.* — ВН, акс. 9834 (Вав. 848), к. 2.

Замечание Е. Земека может быть отнесено и к произведению В. Коховского. СХ, как и «Краткая беседа», оставляют некоторое впечатление сценария и постановки, в случае СХ — страстного представления. Очевидный здесь драматургический способ изображения событий наводит на мысль именно о сцене, а не о чтении, однако отсутствуют чисто внешние показатели, позволяющие признать это произведение драматическим (в частности, распределения реплик).

Таким образом, СХ — не драма или скорее не страстное действие, однако очевидно, что автор пользуется опытом страстных представлений (а может быть и вертепных). Тип описания некоторых персонажей, их манера выражаться, явные апострофы к слушателю (или зрителю?), к персонажам драмы — все это указывает на то, что произведение скорее предназначалось для чтения вслух (представления, пения?), чем для созерцательного чтения про себя.

Во всяком случае, можно смело утверждать, что это произведение явно находится «на границе», что затрудняет его однозначную жанровую классификацию. В свою очередь можно сказать, что оно реализует «урок Креста», будучи «полным экзистенциальным переживанием единства с Христом в его смерти, чтобы обрести возможность участвовать в его воскресении» [35]. Подобные мысли находим в религиозной литературе этого столетия; добавим также, что к текстам, где осмысляются «уроки Креста», принадлежит известная церковная песнь «Святой Крест»¹⁰.

Таким образом, поэма Коховского скрывает в себе много загадок и далеко не так банальна и неинтересна, какой ее долго считали. Напротив, это безусловно сложное, неоднозначное произведение, достойное «дителя» времени, в которое и для которого оно было создано.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Лунатов А. В.* Литературный облик польского барокко и проблемы изучения древнерусской литературы // Славянское барокко. М., 1979. С. 39 и сл. *Lichański J. Z.* Barok albo o poszukiwaniu podstaw // Poezja. 1977. № 5/6. S. 209—213.
2. *Hernas Cz.* Barok. Warszawa, 1980. S. 461—462.
3. *Bady R.* Littérature et spiritualité. Lyon. 1978. P. 97 etc.
4. История всемирной литературы. Под ред. Ю. Б. Виппера. М., 1987. Т. 4. С. 16—383.
5. *Weintraub W.* O niektórych problemach polskiego baroku // *Weintraub W.* Od Reja do Boya. Warszawa, 1977. S. 77—102.
6. *Pelc J.* Kontreformacja, sarmatyzm a rozwój literatury polskiej // *Wiek XVII. Kontreformacja. Barok. Prace z historii kultury.* Red. *J. Pelc.* Wrocław etc. 1970. S. 95—173.
7. *Bunsep Ю. Б.* Поэзия барокко // Европейская поэзия XVII в. М., 1977. С. 5—28.
8. *Z głębokości...* Antologia polskiej modlitwy poetyckiej. Opr. *A. Jastrzębski, A. Podsiad.* Т. 1—2. Warszawa, 1979.
9. *Mrowiec K.* Plankty polskie / Źródła do historii muzyki polskiej. Т. XV. Warszawa, 1968.
10. *Mrowiec K.* Pasje wielogłosowe w muzyce polskiej XVIII w. Kraków, 1972.
11. *Lewński J.* Dramaty staropolskie. Т. 1—6. Warszawa, 1959—1963.
12. *Bystron J. St.* Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI—XVIII. Т. 1—2. Warszawa, 1976. Т. 2. S. 53—58.
13. Poeci polskiego baroku. Opr. *J. Sokołowska, K. Żukowska.* Т. 1—2. Warszawa, 1965.
14. *Potocki W.* Dzieła. Opr. *Ł. Kukulski.* Warszawa, 1987. Т. 1.
15. *Skwarczyńska S.* Wstęp do nauki o literaturze. Warszawa, 1954. Т. 2. S. 495—497.
16. *Dłuska M.* Próba teorii wiersza polskiego. Warszawa, 1962. S. 229—230.
17. *Dłuska M.* Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. Kraków, 1950. Т. 2. S. 35 etc.
18. *Żabczyc J.* Symfonie anielskie. Kraków, 1631. № 4, 7, 10, 15, 35.
19. *Piszczkowski M.* Pisma J. Żabczyca. Lwów, 1937.
20. *Jachimecki Z.* Muzyka polska w rozwoju historycznym. Kraków, 1948. Т. 1. Cz. 1. S. 218.
21. *Feicht H.* Muzyka polska w okresie baroku / Historia muzyki powszechnej. Kraków, 1965. Т. 2. S. 220—236.
22. *Gołębiowski L.* Lud polski, jego zwyczaje, zabobony. Warszawa, 1830. S. 47—49 etc.
23. *Pelc J.* Jan Kochanowski. Szczyt Renesansu w literaturze polskiej. Warszawa, 1980. S. 305.
24. Średniowieczna pieśń religijna polska. Opr. *M. Korolko.* Wrocław etc., 1980. S. 104—105.
25. Метрика грецка и лациńska. Red. *M. Dłuska, W. Strzelecki.* Wrocław, 1959. S. 284.
26. *Joret Ch.* La Rose dans l'antiquité et au moyen age. Paris, 1892.
27. Мифы народов мира. М., 1988. Т. 2.

¹⁰ О генезисе и традиции песни «Святой Крест» [36] (см. также [37—39]).

28. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Red. *J. Krzyżanowski*. Warszawa, 1969. T. 2. S. 461.
29. *Linde S. B.* Słownik języka polskiego. Lwów, 1858. T. 2. S. 428.
30. *Krzyżanowski J.* Paralele. Warszawa, 1977.
31. *Hernas Cz.* W kalinowym lesie. Warszawa, 1965. T. 1—2.
32. *Bystroń J. S.* Literatura ludowa/*Bystroń J. S.* Tematy, które mi odradzano. Warszawa, 1930. S. 357—417.
33. *Wierusz-Kowalski J.* Liturgika. Warszawa, 1956. S. 220.
34. *Ziomek J.* Mikołaja Reja «Krótka rozprawa» i «Kupiec». Problemy dialogu i dramatu/Mikołaj Rej. W 400-lecie śmierci. Red. *T. Bieńkowski, J. Pelc, K. Pisarkowa*. Wrocław etc. 1971. S. 71.
35. *Merton T.* Zen i ptaki żądzy. Tłum. *A. Szostkiewicz*. Warszawa, 1988. S. 60.
36. *Bober A.* Światła ekumeny. Antologia patrystyczna. Kraków, 1965. S. 582.
37. Średniowieczna pieśń religijna polska. Opr. *A. Brückner*. Kraków, 1923. S. 84—87.
38. *Gretzer J.* De Cruce Christi. Ingolstadt, 1598—1605. T. 1—5.
39. *Ciesielska-Borkowska S.* Mistycyzm hiszpański na gruncie polskim. Kraków, 1939.



© 1995 г. ЛИПАТОВ А. В.

ПРОСВЕЩЕНИЕ: АНТИНОМИИ И ЕДИНСТВО ЭПОХИ

Эпоха Просвещения представила достаточно неоднородный конгломерат идей, которые не только взаимодополняли друг друга, но нередко друг другу противостояли и даже взаимоисключали: в философии — учения идеалистические и материалистические; в государственно-правовой области — концепции монархические и республиканские; в политэкономии — классическая буржуазная школа и утопический социализм; в искусстве — классицизм, рококо и неоготика; в литературе — классицизм, рококо, сентиментализм, а в его русле — преромантически ориентированное течение (общеевропейский резонанс Руссо, Бернардена де Сен-Пьера, английского «готического» романа, Д. Макферсона, Т. Перси).

При общей направленности социально-экономического движения от феодализма к капитализму и устремлениях сторонников такого пути развития способствовать этому процессу во всех областях общественной жизни сама эта эпоха существенно отличается в разных странах не только своими философскими основами, направленностью реформ, характером реализации поставленных целей, соотношением и расстановкой разных социальных слоев, но и самой хронологией, а, следовательно, — историческими стадиями развития. Внутри каждой страны имели хождение разные в социально-политическом, философском, экономическом и правовом, эстетическом и общекультурном отношении варианты Просвещения, обусловленные местной историей, традицией, потребностями. Это, в конечном счете, предопределяло не только национальный облик просветительных вариантов, но и характер их связей, самого отношения к двум «моделям» буржуазной идеологии и социально-политической практики эпохи Просвещения — Англии и Франции, где в разные периоды по-разному местная буржуазия реализовывала свои мечты о власти. Поэтому понятие «Просвещение», в сущности, крайне неопределенно.

В настоящее время мы уже в более или менее объективных пропорциях видим роль церкви и религии в древности — таких процессах, как, например, создание государства, кристаллизация национального единства, формирование науки, культуры, литературы, искусства. В отношении же эпохи Просвещения в этом плане еще предстоит много сделать, понять, переосмыслить. У большинства славянских народов, лишенных независимости и не имевших своего дворянства и оформившегося как сословия буржуазии, роль духовенства, особенно на первом этапе Просвещения, была ведущей. Значительной она была и там, где существовало дворянство (Россия, Польша, Хорватия), и там, где национальная бур-

Липатов Александр Владимирович — д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

жуазия и интеллигенция еще только складывались как социальная и общекультурная сила (часть западных и южных славян в границах Австрии).

С решением этих вопросов взаимосвязано освещение проблем формирования наций и национальных культур нового времени, пробуждения национального самосознания у поработанных народов и их борьбы за свои права и обретение собственной государственности¹.

Понять Просвещение можно лишь осознав его внутреннюю дифференциацию.

Ускорение темпов развития европейской цивилизации в XIX и особенно в XX в. предопределило облик качественно нового этапа истории человечества. Однако его начальной фазой, связанной с созреванием и выдвиганием на первый план тех эволюционных тенденций и закономерностей, которые обусловили иной тип общественных отношений, человеческих связей, морально-философских воззрений, было Просвещение. Эта эпоха наиболее близка новейшему этапу европейской истории, ибо в генетическом смысле дает ему начало. В сопоставлении с духовной жизнью предшествующих времен это была переломная эпоха, когда в результате многовекового развития побеждает тенденция, вырвавшаяся на поверхность еще во времена Возрождения, но затем сдерживаемая либо уничтоженная во времена Реформации и Контрреформации. Речь идет о секуляризации человеческой мысли, что повлекло за собой поистине грандиозные последствия во всех областях человеческой деятельности. Вне этого процесса невозможно представить развитие новых общественно-экономических отношений, сокрушивших феодальную систему и положивших начало той эволюционной линии, которая в фазе зрелости — уже в наши дни — обрела название «эры технической цивилизации».

Развитие новых общественно-экономических отношений обусловило процесс формирования наций.

Раскрепощенный разум стремился к раскрепощению социальному и духовному. Идеи свободы, равенства и справедливости в современном нам наполнении появляются именно в этот период истории. Успешная реализация реформ на основе буржуазно-дворянского компромисса (впервые достигнутого в Нидерландах и Англии XVII в.) предопределила характер хронологически первого варианта перехода к новой общественной формации в Европе, что наложило существенный отпечаток на политические, экономические и социально-философские концепции последующих времен, играя роль образца для различных реформ «сверху», тогда как Великая французская революция открывает историю классовых битв новейшего времени. Эта революция — своего рода философско-политический и социально-экономический итог хронологически второго просветительского варианта создания нового — буржуазного — общества. Преобразования, затронувшие все сферы общественной деятельности, способствовали формированию новой — исторически уже близкой нашему времени — человеческой личности. Ее мироощущение основывается на критически мыслящем разуме, не на освященных традицией воззрениях, требованиях, обычаях (которые теперь квалифицируются как суеверия, иллюзии, предрассудки), а на эмпирии фактов. Отсюда — стремление не следовать уже проложенными путями, а изменять или разрушать старое во имя новых представлений о справедливости и добре. Такое видение в сопоставлении с мировосприятием эпохи феодальных отношений было революционно по сути своей, ибо до сих пор традиционность, давность явлений, отношений, обязанностей как бы освящала их, возводила в ранг единственно возможных, истинных и неизменных ценностей. И. Кант отмечал, что для человечества это был век критического созревания, стремления порвать с собственным детством. Человек Просвещения — в отличие от индивидуума предшествующих времен — это прежде всего человек, не соглашающийся на традиционную реальность. Главная его черта — нонконформизм — отношение к миру, характеризующееся

¹ Этим проблемам посвящен цикл исследований Института славяноведения и балканистики РАН, вышедших в серии «Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму».

стремлением не только понять реальность, но и переделать ее в соответствии с гуманными представлениями своего времени. В силу этого близко нашей современности и искусство Просвещения — не только своими идеями, но и самим типом художественного выражения нового отношения к действительности. Так, роман и драма — популярнейшие жанры искусства XIX—XX вв. — генетически восходят к тем генологическим эталонам, которые были созданы во время Просвещения. Многие свершения этой эпохи вошли в европейское искусство и культуру последующих времен в своем трансформированном виде — так, как их восприняла, переосмыслила, использовала следующая — романтическая — эпоха. То, что эти свершения были ею восприняты и использованы не в «чистом» виде, к тому же во времена критического отношения к просветительскому периоду², затушевывает в сознании часто не только современников, но и потомков подлинные пропорции и масштаб исторического вклада Просвещения в общественный прогресс (понятие, сформировавшееся во времена романтизма, но своими истоками восходящее к Просвещению). Романтическое противопоставление Просвещению отнюдь не означало отсутствие связей и преемственности. По мере изучения этих эпох становится все более очевидным, насколько романтики, если речь идет о литературе, опираются на жанровую систему со свойственной ей композиционно-тематической и образно-экспрессивной дифференциацией, которая была разработана эстетической теорией и художественной практикой Просвещения, опирающегося в свою очередь на свершения предшествующих эпох, с которыми просветители также не только солидаризировались, но и полемизировали. Историю прозы, драмы и поэзии XIX в. невозможно объективно понять вне просветительских традиций. Гете, Байрон, Пушкин, Мицкевич, Стендаль, Толстой, Диккенс, Достоевский — гении, символизирующие связь двух эпох, создающие свои шедевры на стыке и взаимопереплетении созданных этими эпохами ценностей. Реализм XIX в., современный реалистический роман и драма зиждятся на традициях, восходящих к просветительской прозе и театру.

Философия, политэкономия, общественная мысль XIX—XX вв. непосредственно восходят к эпохе Просвещения, когда возникли классические образцы буржуазного и раннесоциалистического самосознания, отражающие концепции двух миропорядков, последующее развитие которых предопределило глобальный конфликт человечества в наши дни. Истоки многих из этих генетических линий уходят в глубь веков, однако непосредственное их начало — эпоха Просвещения. И в этом отношении прав был П. Азар, утверждая: «Мы обременены наследием древности, Средневековья, Ренессанса, но непосредственно ведем свою родословную с XVIII в.» [2]. Именно поэтому эпоха Просвещения еще с прошлого века привлекала и продолжает привлекать особое внимание ученых.

Крушение идеалов Просвещения и кризис просветительской идеологии, столь однозначно оцениваемый романтической эпохой, иногда подспудно прорывается и в наше время. Лишенная диалектического стержня, механистическая по своей сути критика просветителей с классовых ли позиций, с точки ли зрения того, что произошло потом, исходя ли из самого факта их поражения, либо исторически неизбежных просчетов — примеры необъективной оценки прошлого. Это свойство всех времен, включая и само Просвещение (Герцен характеризовал французов XVIII столетия, создавших классический образец Просвещения, как «не понимавших прошедшего» [3]). Нельзя, оценивая определенный исторический период, подменять критерии одной эпохи критериями другой — ибо это нарушает конкретно-исторический принцип рассмотрения и объективность видения.

Многие идеалы Просвещения, реализуемые на практике, утрачивали свою идеальность. Это несовпадение идеи и практики, мечты и действительности — результат не злого умысла просветителей, а единственно возможное следствие сути общества с присущими ему антагонизмами. В этой связи следует отметить,

² Это закономерно и исторически, и психологически: каждое «новое», противопоставляясь «старому», в то же время опирается на его свершения [1].

что по мере становления эпохи, нареченной Просвещением, по мере нарастания нового и проникновения ее мыслителей и художников в суть происходящего, по мере сопоставления ими первоначальных идей и последующей реальности некоторые из них, наиболее прозорливые, утрачивали изначальный оптимизм. Разочарование, скепсис, ирония, горечь начинают проникать в их видение человеческого мира и свойственных ему отношений. Таков был обретенный философский итог размышлений столь разных художников, как, например, Свифт в Англии, Вольтер во Франции, Гете в Германии, Радищев в России, Красицкий в Польше [4].

Изучая общественно-политическую мысль эпохи, воззрения ее представителей, художественное наследие, необходимо каждый раз подходить к объекту анализа конкретно-исторически. Общественная действительность не есть нечто застывшее, она находится в постоянном развитии. Одни и те же явления, выступающие в разных эпохах, аналогичны лишь внешне, в сфере вербальных обозначений, а не по своему исторически конкретному качеству. Такие общие для всех эпох понятия, как, например, общественные сословия, классовая расстановка сил, общественное производство, война, революция, искусство, литература, культура и т. п., обозначают качественно разные — в зависимости от исторической специфики эпох — явления. Каждое же появление нового качества знаменует рождение новой эпохи и является следствием нарастания количественных изменений в процессе общественного развития. В этой связи объективная оценка интеллектуальных, социальных и художественных свершений эпохи Просвещения, различных судеб и роли ее философского и общекультурного наследия в последующие времена может быть выявлена только при наличии конкретно-исторического подхода, диалектического восприятия и оценки ведущей в те времена социальной силы, которой в экономически наиболее развитых странах Европы была буржуазия. Смещения в понимании и оценке Просвещения в наши дни нередко связаны с отношением к третьему сословию XVIII в., в свете его истории XIX—XX вв., когда буржуазное будущее — эпоха развитого капитализма — накладывалось на прошлое третьего сословия, на его «героический» период. Тем самым качественные явления одного ряда подменялись качественными явлениями иного, общим оставалось название, но не внутренняя (качественная) суть. Это же относится и к роли церкви и духовенства.

Крайность иного рода — подмена диахронного подхода синхронным, что на практике логически вело к идеализации просветительских свершений буржуазного характера, их абсолютизации (когда идеи отождествлялись с практическими свершениями, отнюдь этим идеям не адекватными). Это — неизбежное следствие вычленения части из целого; составного этапа — из процесса; одной эпохи — из ее исторического контекста — предшествующего и последующего.

Роль просветительского наследия в следующие исторические эпохи сводилась к заимствованию отдельных его элементов и была обусловлена рамками выработанных ими структур. Поэтому задача исследователей эпохи Просвещения — познать саму просветительскую систему и выявить не только отдельные составляющие ее элементы, но и характер их функционирования именно внутри нее. Наличие определенного элемента и его роль в духовной и социально-экономической жизни своей эпохи отнюдь не аналогичны его значению в иных (последующих) исторических периодах. Например, материализм, как наиболее радикальная тенденция просветительской философии, впоследствии стал органической частью революционного движения. В эпоху же Просвещения материализм был «аристократическим учением для избранных» [5], которое могло быть направлено и против народа, использовано в интересах абсолютной монархии, являться оппозиционным по отношению к революции [6].

Другой аспект этой проблемы — неоднородное отношение к материализму в разных странах на разных этапах истории эпохи. В Англии, где расцвел материализм, к которому затем обратились французские просветители, ситуация радикально меняется: чем больше возрастала роль материализма в процессе Французской революции, тем более увеличивались религиозные настроения в Англии.

То же самое можно отметить и в отношении третьего сословия к методам

борьбы за свои права и его воззрений на роль аристократии. Чем дальше от революции в Англии и ближе к Великой французской революции, тем больше увеличивалась пропасть между одной просветительской моделью государства и другой, одной системой реализации буржуазного миропорядка и другой, одной национальной идеологией буржуазии и другой. Так, если в первой фазе французского Просвещения английский материализм обрел живой отзвук и стал исключительно аристократическим учением, то в дальнейшем — вместо элитарного (по характеру и сфере распространения) и роялистского (по направленности), каким он был и в Англии, материализм, развиваемый французскими философами, обрел роль идеологии массовой и революционной.

Если в победоносной борьбе третьего сословия Англии роль его революционной для своего времени идеологии играло религиозное учение (кальвинизм), то полтора века спустя в борьбе французской буржуазии за свои права аналогичное значение обрели материализм и сугубо политическая программа действий. И если английская буржуазная революция привела к компромиссу и сотрудничеству доселе антагонистических сил (буржуазии и дворянства), если сто пятьдесят лет спустя английская буржуазия прямо враждебно отнеслась к методам борьбы своего сословного собрата во Франции, то это было связано с разным опытом, разными путями борьбы, разными идеологиями в разные исторические периоды одного класса этих двух разных стран.

Конец Французской революции не означал подавления идей Просвещения, а только насильственную замену одного просветительского варианта системы правления и социально-экономического устройства другим. Причем такого рода замена отнюдь не снимала и прямой преемственности в соотношении этих двух вариантов: империя Наполеона была по своему государственному устройству и законодательству наиболее прогрессивным из существующих государств континента. В области гражданского права «Кодекс Наполеона» (1804) явился юридическим подтверждением основных завоеваний революции. Основанный на свободе личности, он утверждал равенство всех сословий перед законом, отделение церкви от государства, систему гарантий частной собственности и целый ряд других положений, что в сумме своей способствовало развитию капиталистических отношений и ускоряло сам процесс этого развития. Именно «Кодекс Наполеона», который несла на своих штыках французская армия, открывал ей границы европейских стран, народы которых (прежде всего третье сословие) восторженно приветствовали пришельцев как освободителей от феодального гнета и связанных с ним средневековых пережитков во всех областях общественной жизни.

В этой связи при исследовании Просвещения необходимо принимать во внимание и иной аспект данной проблемы: неадекватность просветительской философии и идеологии; философских идей, создаваемых мыслителями и их практического использования, отношения к ним политических деятелей, их интерпретации обществом. Пример: Руссо, которым увлекались при королевских дворах, в аристократических салонах, равно как и в среде радикалов и революционеров, любимый писатель Марии Антуанетты и Робеспьера, отправившего ее на эшафот. И если портреты и бюсты «добродетельного философа» украшали дворцы монархов и аристократов, то после победы революции его прах был торжественно перенесен в Пантеон. Иной пример — Вольтер с его деизмом и критикой общественных отношений, государственных и религиозных институтов. А в то же время в XVIII в. французская аристократия говорила: «Для нас Вольтер, для масс — обедня и десятина». Тут, по-видимому, встает не только проблема «доступности-недоступности», но и разных интерпретаций³, а также прагматики — исполь-

³ Для высокообразованной аристократической среды философские идеи просветителей представляли интерес, с одной стороны, в плане нового осмысления реальности, но без выводов практического характера (правда, были отдельные эксперименты, осуществляемые в пределах собственных владений: пример — племянник Станислава Августа С. Понятовский в Польше; Новиков — в России), с другой — в чисто салонной интерпретации, ставшей частью моды, великосветской игрой. Радикальные же выводы идеологического свойства и их практическая реализация были характерны для деятелей Французской революции, польских и венгерских якобинцев.

зования если не идей, то авторитета знаменитых мыслителей в своих целях [7]. Великие философы французского Просвещения, которые объективно своими идеями подготавливали революционный взрыв, в то же время субъективно были далеки от революционной практики. Для них — друзей и корреспондентов Екатерины II, Фридриха II и других «просвещенных» монархов и аристократов — «радикализм был чем-то психологически невозможным» [8]. В этом отношении они были традиционными представителями науки, только объясняющей мир, переделывать же его взялись их «ученики» — политические деятели — реформаторы или революционеры. Однако концепции просветительских мыслителей и их авторитет играли важную роль в общественной жизни эпохи. И это было знаменем времени. Непререкаемое со времени Средневековья значение церкви и государства не просто сузилось в интеллектуальной жизни Европы. Эти институты сами должны были теперь учитывать общественное значение «республики философов», а в определенных случаях — даже опираться на нее и использовать в своих целях.

Просветительские идеи были не только знаменем времени, но и модой. Их выразителями были не только придерживающиеся разных ориентаций философы (от различных идеалистических концепций до материализма), правоведы (от концепций абсолютной монархии до республики с равными правами для всех сословий) и экономисты (меркантилизм, физиократизм и буржуазная классическая политэкономия, утопический социализм), но и политические деятели — от монархов до революционеров. Носителями этих идей были отнюдь не только представители третьего сословия, но и понимающие необходимость реформ представители аристократии, дворянства и духовенства. Уже из этого следует, что Просвещение не было чем-то единым в плане философской концепции (см. [9]), идеологической доктрины, социально-политической системы и государственного устройства. Следовательно, для общей характеристики Просвещения, выделения его основных черт не подходят противопоставления типа фидеизм — материализм, монархизм — республиканство, клерикализм — антиклерикализм, равно как и узкая, лишенная диалектичности трактовка институциональных и классовых детерминаций.

Просветительские идеи выступали как в светской, так и в религиозной мысли⁴, что отнюдь не означало, что вся религиозная, как и светская мысль была исключительно просветительской. Противоборство «старых» и «новых» идей раскололо все общество. Линия же раскола проходила не в соответствии с национальными, конфессиональными, сословными или институциональными рамками, а внутри них. Светская среда была расколота так же, как и духовенство. Среди сторонников Просвещения были и монархисты (сторонники концепции просвещенного абсолютизма), и якобинцы; люди религиозные, деисты, а также материалисты; в борьбу за реформы (и соответственно — против них) были вовлечены представители всех внутренне расколовшихся сословий.

Для понимания Просвещения важен контекст, которым оперирует исследователь, причем зачастую пунктом отсчета является либо «французская модель», либо — реже — «английская», либо некое сведение просветительского к рационализму (а иногда и к материализму) и к критике религии, что чрезвычайно упрощает и искажает сложную картину подлинного соотношения явлений, понятий и фактов.

Так, например, антиклерикализму и материализму французской модели противостоит религиозность модели английской. Известна роль Реформации в истории развития капиталистических отношений. В XVIII в. «постконтрреформационный» католицизм под воздействием изменившейся социально-политической реальности и абсолютистского государства (стремящегося к ограничению светской и экономической мощи церкви) также должен был изменять свою социальную доктрину,

⁴ Так, в славянском регионе Европы начальный этап Просвещения в значительной степени, а у некоторых народов почти полностью (южные славяне, чехи, словаки, лужицкие сербы) представлен духовенством.

приспосабливаясь к новым условиям [2; 10; 11]. Это следует принимать во внимание, тем более, что часть таких изменений была связана с просветительской критикой некоторых устаревших сторон института церкви, что принесло плоды как для нее самой, так и — через ее посредничество — для общества: просветительскую реформу школ и образования (равно как и социально-историческое значение этого шага во всех областях жизни) невозможно понять вне роли церкви, в руках которой находилась вся эта система. Имена Ф. Прокоповича — в России, С. Конарского — в Польше, Паисия Хилendarского — в Болгарии, А. Качича-Миошича — в Хорватии, Й. Раича — в Сербии, Я. Коллара — в Словакии, Й. Добровского — в Чехии, как и многих других славянских просветителей — часть общекультурной национальной истории, неотделимой от роли церкви и значения религии в жизни общества минувших времен⁵.

Если материалисты и деисты сообща отрицали церковь как институт, то деисты не отрицали существования Бога, что объективно сближало их с просветителями католиками, протестантами, православными.

Во взаимосвязи с решением этих вопросов находится освещение проблем формирования наций и национальных культур Нового времени; пробуждения национального самосознания у поработенных народов и их борьбы за свои права и обретение собственной государственности.

Просветительское движение, открывающее новую страницу истории, ощущало в себе зародыши будущего. В многоплановой и внутренне дифференцированной философии и идеологии Просвещения это было связано с теми мыслителями, которые уповали на третье сословие и с его помощью стремились освободить все общество.

Литература, отражающая просветительские идеи и служащая им, не являла собой нечто художественное единое. Так же, как философские, социальные, экономические и правовые доктрины Просвещения были весьма дифференцированы, обуславливая пестрый общий облик эпохи, и художественные направления — прежние (барокко, рококо, классицизм) и новые (сентиментализм, предромантизм) — составляли облик просветительской литературы по мере того, как насыщались просветительскими идеями. Одно и то же художественное направление могло обретать разный идейный облик⁶. (Польские примеры: классицизм В. Жевуского, с одной стороны, И. Красицкого — с другой; сентиментализм Т. Глиньской и К. Станиславской, с одной стороны, Ф. Карпиньского и Ф. Д. Князьнина — с другой; барокко в манере «сарматской» оппозиции, с одной стороны, А. Нарушевича — с другой; рококо в литературной среде Кракова, с одной стороны, Варшавы и Пулав — с другой.) Поэтому-то XVIII в. — это не столько борьба направлений в литературе, сколько борьба идей внутри литературных направлений. Это характерно и для крупнейших славянских литератур эпохи Просвещения — польской и русской. Развитие других славянских литератур этого времени связано с процессом национального возрождения (вторая половина XVIII — середина XIX в.)⁷.

Внутренняя социальная, политическая, экономическая, философская, художественная, общекультурная дифференциация Просвещения детерминировалась национально-исторической спецификой, с одной стороны, и межнациональными общественными процессами — с другой. Решение этих проблем ведет к выявлению общей типологии эпохи, которая может одновременно способствовать более глубокому пониманию особенностей национальных вариантов.

Просвещение — при всем различии исторических судеб славянства — имело

⁵ Подробнее эти вопросы разработаны в [12].

⁶ Аналогичная ситуация была в музыке, изобразительном искусстве, архитектуре: одни и те же направления (барокко, рококо, классицизм, неоготика) «обслуживали» как сторонников, так и противников просветительских идей.

⁷ Опыт целостной картины славянского Просвещения и попытки представить польскую литературу XVIII — первых десятилетий XIX в. в категориях литературных направлений и с точки зрения преемственности (барокко — Просвещение, Просвещение — романтизм) отражены в [12. С. 20—96, 123—170; 13. С. 129—141].

для них общие смысл и направленность: приобщение к современной западноевропейской культуре, осознание своего места в современной Европе, достижение национального, экономического, политического и государственного (в России и Польше) процветания.

Критическое переосмысление своего прошлого для преобразования своего настоящего означало не отказ от собственной национальной традиции, духовного наследия, а поиски в своей истории тех тенденций, которые являются общими для всей европейской цивилизации, основанной на принципах христианства. Активизируя их и отказываясь от архаики, славянские просветители создавали тем самым исторические основы и психологические предпосылки перехода от культурной замкнутости, провинциализма к открытости на мир (концепция просветительского космополитизма) и мышлению в общих для человечества категориях морали, разума, гармонии личностного и общественного.

Одержимость Западом, как правило, была явлением маргинальным и проявлялась в начальной стадии (Польша, Чехия) или не выступала вообще (Болгария, Сербия). Только в России в силу самой системы государственного правления окцидентальный экстремизм Петра обрел общенациональный масштаб, но был ограничен временем его же правления.

Все славянские, равно как и подавляющее большинство западноевропейских концепций просветительских преобразований строились на основе христианской системы ценностей. Рационализм не был противопоставлен христианству. Создавая очередную утопию справедливого переустройства человеческого мира, он вступал в полемику не с христианством, а с его институтами. Родоначальники сербского Просвещения Захарий Орфелин и Досифей Обрадович неминуемо должны были столкнуться с собственной православной церковью, консервирующей средневековые традиции.

Конфликт между поборниками и противниками просветительских преобразований охватил все — включая и духовенство — сословия. В силу же самой его внутренней сути разграничение проходило отнюдь не по сословному принципу. Все предопределялось личностной ментальностью, от которой зависел индивидуальный выбор — моральный, интеллектуальный, нравственный по своей сути. Поэтому-то поборники и противники Просвещения были во всех сословиях. Были они и в лоне самой церкви, как и в кругах государственных чиновников, а также среди аристократии, дворянства, третьего сословия.

Проблематично свести к единому знаменателю и сами позиции отдельных христианских конфессий. Преодолению консервативных тенденций в лоне католической церкви способствовал понтификат (1740—1758) папы Бенедикта XIV, стремившегося привести католическую доктрину в соответствие с научными представлениями (так, например, было отменено давнее осуждение теории Коперника). Это отразилось в попытках преодоления нетерпимости к другим христианским конфессиям: в этом отношении симптоматичны римские издания протестантского философа Вольфа — одного из родоначальников немецкого Просвещения, чьи идеи обрели широкий резонанс в Европе (включая и славянскую ее часть).

Рим начал признавать и использовать некоторые течения в светской философии, что, в частности, получило отражение в программах католических школ, включавших Декарта, естественные науки и современную литературу (например, Вольтера). Эти школы подготавливали будущих национальных просветителей, а в Польше с такой реформы школ Пиаристского ордена, осуществленной ксендзом С. Конарским, началось зарождение Просвещения и просветительства. Всюду, где осуществлялись просветительские реформы «сверху» — в Испании, Португалии, Австрии, Польше — католическая церковь с теми или иными осложнениями принимала участие в общенациональном процессе перемен.

Позиция русской православной церкви эпохи Просвещения, подобно протестантской, совпадала с позицией государства и была ей подчинена. Архиепископ и вице-президент Синода Феофан Прокопович — сподвижник Петра I, поборник

отделения религии от науки и подчинения церкви государству, сыгравший громадную роль в политической, общественной и литературной жизни России — фигура знаменательная и для церкви, содействующей Просвещению, и для самого типа русской государственной религиозности XVIII в.

При всех индивидуальных различиях, равно как и различиях в уровне образования, общественном положении и характере деятельности, Феофан Прокопович, Досифей Обрадович и Паисий Хилендарский символизируют ту новую православную образованность в России, Сербии и Болгарии, которая подготавливала Просвещение и сыграла видную роль в развитии просветительских идей и литературы у славянских народов. При этом у части славян, лишенных собственной государственности, церковь обрела исключительное для жизни нации значение. Этническое здесь отождествлялось с конфессиональным, а институт церкви принимал на себя и ряд функций, свойственных государственным институтам (общественно-организационные, гражданственно-воспитательные, образовательные и культурные).

Среди католического славянства именно священнослужители были родоначальниками и крупнейшими деятелями Просвещения, особенно на первых его этапах. С их именами связано и создание классических образцов национальной литературы этой эпохи, выработка канонов национального литературного языка: это С. Конарский, Ф. Богомолец, А. Нарушевич, И. Красицкий, Г. Коллонтай, С. Сташиц, Ф. Езерский, П. Воронич и другие в Польше; Й. Добровский, А. Я. Пухмайер и другие в Чехии; Й. И. Байза, А. Бернолак, а несколько позже — Я. Голлы и другие у словаков; Ф. Грабовец, А. Качич-Миошич, В. Дошен, Т. Брезовачки и другие у хорватов; М. Похлин, Ф. Дев, Ю. Янгель, Л. Фолкмер, В. Водник и другие у словенцев. Это движение, будучи отражением процесса обновления внутри католицизма, взаимопереплеталось и было неразрывно связано с Просвещением светским как в сфере философской мысли и интеллектуальной жизни Европы XVIII в., так и в самой своей культурной, общественной и политической практике.

Рационализм и эмпиризм вели отнюдь не только к деизму и атеизму (эти явления в славянском мире были маргинальными), но прежде всего — к современному переосмыслению христианской философии, христианской истории и самого предназначения христианских конфессий. Отсюда — реформы системы образования, начатые именно церковью и имеющие решающее значение для светской жизни. Отсюда и преобладание священнослужителей (а у болгар и сербов — исключительная их роль) среди родоначальников просветительских идей и просветительской литературы.

В обоих случаях — как государственном, так и церковном путях распространения просветительских идей среди славянства — Просвещение, основываясь на традиционных для национальных культур христианских ценностях, осмыслялось как очередной этап развития христианской культуры.

Все это дает основание говорить о христианском Просвещении как составной части эпохи Просвещения.

Христианское Просвещение — это не только христиане — носители и создатели новых идей, это — мировоззренческие принципы и сама аксиологическая основа движения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Липатов А. В.* Теоретическая проблематика стыка литературных эпох // Советское славяноведение. 1979. № 6.
2. *Hazard P.* La pensée européenne au XVIII^e siècle. Paris, 1946. Т. 1. Р. 1.
3. *Герцен А. И.* Собр. соч. в 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 113.
4. *Липатов А. В.* Возникновение польского просветительского романа. Проблемы национального и общеевропейского. М., 1974.
5. *Маркс К., Энгельс Ф.* Об искусстве. М., 1957. Т. 1. С. 380.
6. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 3. С. 409.

7. *Липатов А. В.* Идеи Ж.-Ж. Руссо в Польше XVIII в. и «Нипуанская утопия» И. Красицкого//Польское освободительное движение XIX—XX вв. и проблемы истории культуры. М., 1966.
8. *Плеханов Г. В.* Избранные философские произведения. М., 1968. Т. 2. С. 9.
9. *Гегель Г. В.* Соч. М.; Л., 1935. Т. XI. С. 383—387.
10. *Hazard P.* La Crise de la conscience européenne 1618—1715. Paris, 1935.
11. *Rostworowski E.* Historia Powszechna. Wiek XVIII. Warszawa, 1977.
12. *Липатов А. В.* Славянское Просвещение в общеевропейском контексте//Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1982.
13. *Липатов А. В.* Эпоха польского Просвещения (Литературное развитие и общественно-политическая действительность)// Польша на путях развития и утверждения капитализма. Конец XVIII — 60-е годы XIX в. М., 1984.



© 1995 г. ГАРДЗИОНИО С.

ТРЕДИАКОВСКИЙ — ПЕРЕВОДЧИК ИТАЛЬЯНСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПЬЕС

(Либретто оперы «Сила любви и ненависти»)

Деятельность Тредиаковского переводчика и ее историко-литературное и языковое значение можно в общем считать удовлетворительно исследованными. Особенно в последние десятилетия комплекс его переводов, как литературных, так и исторических, привлекал внимание разных исследователей, которые тщательно проанализировали языковую и литературную функции многочисленных переложений русского «поэта-труженика» и выяснили новаторские черты и вклад его творчества в развитие русского литературного языка, в перестройку литературно-жанровых понятий новой русской литературы, в разработку новой русской теории перевода¹. Несмотря на это, удивительное трудолюбие Тредиаковского заставляет нас вновь и вновь обращаться к этой теме. Действительно, переводческое наследие поэта кажется неисчерпаемым, и существуют еще некоторые, почти не тронутые аспекты его деятельности.

Цель данной статьи — привлечь внимание к особо специфической стороне деятельности Тредиаковского переводчика. Я имею в виду его переводы итальянских музыкальных пьес, осуществленные в 1733—1736 гг., и, в частности, перевод либретто *opera-seria* «Сила любви и ненависти» (1736).

Сказать, что данная сторона творчества Тредиаковского совсем не освещена, было бы не вполне точно. О переводах итальянских комедий и интермедий писали еще В. Н. Перетц, который и опубликовал в 1917 г. тексты переводов [4], В. Сиповский, П. Берков, В. Н. Всеволодский-Гернгросс, Р.-А. Моозер и другие, а в последнее время ими специально занималась Л. В. Петрунина [3. С. 64—69]. Однако ученые, главным образом, ограничивались переводами комедий и интермедий (их авторством и возможной русификацией сюжетов) и не касались перевода либретто «Сила любви и ненависти», лишь упоминая о нем. О последнем писали музыковеды, но, естественно, они занимались музыкальными и театральными аспектами вопроса, в том числе и развитием сюжета либретто, но перевод Тредиаковского, поскольку опера исполнялась на итальянском языке, не привлекал их внимания².

Гардзонио Стефано — профессор, преподаватель Педагогического института, г. Пиза.

¹ Существует обширная литература о Тредиаковском переводчике и о его вкладе в разные области истории литературы и языка. Среди недавних работ стоит упомянуть книги Б. А. Успенского [1], А. А. Дерюгина [2], сборник статей «Венок Тредиаковскому» [3], работы Ю. Д. Левина, Е. Эткинда, В. Я. Лакшина, И. Сермана и др.

² В последнее время оперой Ф. Арайи занимались Р.-А. Моозер [5], А. А. Гозенпуд [6], Ю. В. Келдыш [7; 8. С. 95—97].

Итак, литературное и языковое значение всех этих переводов Тредиаковского не вызывало живого интереса исследователей. Совсем невыявленным осталось их соотношение с основными тенденциями новой русской словесности и с самим литературным опытом Тредиаковского, хотя Петрунина отмечала: «...не следует исключать эти переводы из общей картины творчества Тредиаковского. Работа над ними, возможно, наложила определенный отпечаток на последующую литературную работу писателя» [3. С. 68].

На мой взгляд, перевод либретто «Сила любви и ненависти» забыт незаслуженно. В самом деле, в нем заметны интересные черты новаторской устремленности Тредиаковского. Их можно свести к следующим пунктам: 1) перестройка принципов русского литературного языка; 2) реформа русского стихосложения; 3) обогащение жанрово-тематической системы русской поэзии, особенно в отношении русских легких жанров и национальной песенной традиции. Кроме того, перевод Тредиаковского играет определенную роль в истории становления оперных жанров в России и в развитии новых навыков русского поэтического перевода. Перейдем к разбору перевода и его истории.

1. Либретто «Сила любви и ненависти» итальянского поэта-дилетанта, последователя П. Метастазіо Франческо Прата³ было положено на музыку известным итальянским композитором Франческо Арайя еще до его приезда в Россию; опера ставилась в Милане в 1734 г. (см. [5. Р. 161]). Арайя приехал в Россию в 1735 г. на смену труппы итальянских артистов, которая в свою очередь сменила труппу Ристори⁴. Постановкой новой для России оперы (29 января 1736 г., по случаю дня рождения императрицы Анны Иоанновны, см. [10]) Арайя утвердил новую, прочную традицию итальянской *opera-seria* в России.

С одной стороны, новая опера оказалась существенным и заметным явлением: своими музыкальными качествами она превзошла все предыдущие спектакли в России, кроме того, само великолепие постановки, применение машин и эффектные смены декорации, пышная сценография и костюмы, наконец, виртуозность певцов и музыкантов, как сообщает Я. Штелин [11], поразили зрителей и заложили предпосылки для господства итальянской *opera-seria* в России в последующие десятилетия.

С другой стороны, неуклюжий драматический текст, запутанное действие, явно неправдоподобные ситуации, условное распределение партий между певцами-кастратами были не вполне приняты публикой и неудивительно, что часто этой опере предпочитали репертуар итальянских комедий и интермедий⁵.

Опера Арайи, следовательно и либретто, строилась по нормам образцовой *opera-seria*. В ней «солонье вокальное начало господствует, арии выдержаны в трехчастной форме *da capo*. Ансамблей в опере всего два (дуэт и квартет) и единственный хор (ансамбль всех действующих лиц) в конце оперы» [8. С. 96]. Либретто тоже соблюдает драматургические нормы итальянской *opera-seria* и строится по примеру «драм на музыке» Метастазіо. Сюжет основан на очень сложной драматической интриге, построенной «на драматических контрастах и излюбленных *opera-seria* и классицистской трагедией конфликтах долга и чувства» [6. С. 40]⁶.

Текст полностью стихотворный. Он состоит из смешанных 11-сложников и 7-сложников, часть из которых белые и часть вольнорифмованные; арии обладают более сложным метрико-строфическим строением. Здесь Прата применяет широкий набор размеров (от 5- до 9-сложников) со сложной рифмовкой и свободными стихами.

³ Среди работ Ф. Праты стоит упомянуть перечисление правил оперного либретто (см. [9]).

⁴ Об истории деятельности итальянских театральных трупп, их составе и роли Пьетро Миры см. работы Силовского, Моозера, Всеволодовского-Гернгросса, Перетца и др.

⁵ См. об этом свидетельство Манштейна в [5. Р. 167].

⁶ Здесь же хорошо изложено резюме либретто: «Абизар — подданный и губернатор одной из провинций индийского царя Софита — вступил в брак с дочерью царя Ниреной. Разгневанный Софит при помощи дружественного государя Барзанга осаждают крепость, в которой заперся Абизар со своим войском. Абизар схвачен и осужден на казнь. После различных перипетий (бегство Абизара, которому помогает Таксил, племянник Барзанга, влюбленный в сестру Абизара — Талестрию), многочисленных сражений, когда то один, то другой противник побеждает, жестокий Софит, убедившись в благородстве Абизара, прощает его и признает брак».

Итальянское либретто было напечатано в 1736 г. в Санкт-Петербурге вместе с немецким переводом (*Die Macht der Liebe und des Masses*) [12] (последний был напечатан и отдельно) (см. [13]). Одновременно оно появилось и в сопровождении русского перевода под названием «Сила любви и ненависти, драма в музыке» [14; 15]. В предуведомлении к русскому переводу, между прочим, читается: «Речи переводил с французской прозы и в ариях приводил стихи токмо в падение без рифмы В. ТрEDIAKовский» [14. С. 7].

Как и для переводов комедий и интермедий 1733—1735 гг., ТрEDIAKовский работал с помощью французского переложения, хотя и владел итальянским языком⁷. Объяснить этот факт при отсутствии более точных и пространных свидетельств очень затруднительно. Что касается комедий и интермедий, то оригиналы их неизвестны, однако перевод либретто «Сила любви и ненависти» верен итальянскому оригиналу, хотя некоторые вольности в обращении с текстом предполагают использование французского посредника.

Вообще перевод из Праты существенно отличается от предыдущих переложений ТрEDIAKовским итальянских пьес. В то время как переводы 1733—1735 гг. почти целиком осуществлены прозой, в новом своем опыте ТрEDIAKовский старался передать арии в стихах, хотя и нерифмованных. Кроме того, качество перевода несомненно выше. Выбор безрифменного стиха в 1736 г. для ТрEDIAKовского показателен. Поэтому трудно согласиться с мыслью, что перевод был лишь подстрочным пособием для понимания действия не знающими итальянского языка зрителями.

К сожалению, точными данными о предназначении перевода мы не располагаем, и, например, заманчивое предположение В. Чешихина, согласно которому «Сила любви и ненависти» исполнялась и на русском языке (тогда перевод ТрEDIAKовского можно было бы считать первым образцом *opera-seria* на русском языке), не нашло серьезных фактических подтверждений [18].

2. Перевод осуществлен ТрEDIAKовским по новым языковым принципам, уже примененным им в переводе «Езды в остров любви». Это значит, что перевод написан «почти самым простым русским словом» и очищен от элементов «глубокословной славенщины».

Что касается морфологических особенностей, то перевод избегает церковнославянских окончаний за некоторыми исключениями. В частности, следует отметить форму род. падежа ед. ч. прилагательных и местоимений женского рода на *-ья* и *-ия*, которая для ТрEDIAKовского была не вольностью, а нормой (*противныя фортуны; мояя болезни* и т. п.). В род. падеже ед. ч. прилагательных и местоимений мужского рода отмечается известное колебание типа *никакова/онаго*, в имен. падеже мн. ч. прилагательных колебание типа *нощныя/благоприятныя*. Оба окончания имен. падежа ед. ч. прилагательного мужского рода присутствуют в переводе (*-ой; -ый*).

В поэтических текстах переводчик применяет те славянизмы, о которых и пишет в своем «Новом и кратком способе» (например, форму *мя*); кроме того, широко использует так называемое «усечение» прилагательных и причастий (например, *мал ветр; в страх велик; красны дни; бедно сердце; всяк час*). Отмечается и стяжение в склонении существительного ср. рода на *-ие* (ср. *по прибыти*).

С лексической точки зрения, славянизмы и архаизмы можно также считать привычными: ср. *благодаяние, мздовоздаяние, благополучие; воспоминай, градские* и т. п. Также обиходны: *армия, баталшон, баталия, фортуна* и т. д.

Что касается словорасположения, текст ТрEDIAKовского, особенно в стихотворных переложениях, подтверждает известное мнение Л. В. Пумпянского, согласно которому инверсии входили в стилистическую систему стиховой речи

⁷ Как известно, ТрEDIAKовский учился в Астрахани у итальянских капуцинов, см. об этом [16; 3. С. 27—35]. И. З. Серман также отмечает: «К 1734 г. ТрEDIAKовский достаточно ознакомился, кроме латинского и французского стихосложения, ... со стихом итальянским из оригиналов переведенных им комедий» [17. С. 63].

поэта, например: «Отдай страстям вольность моим целу», «Кажется ему, все что судно гибнет» и т. д. [19; 20; 21; 3. С. 49—50; 1. С. 102—103].

Интересно также заметить тенденцию к опрощению орфографии — Тредиаковский применяет новые нормы правописания в духе реформы русского литературного языка, — а также стремление к точной звуковой передаче слов «по звонам», например: *умячитьсяся, блиския, утишиться* и т. п. [3. С. 49].

Тредиаковский применяет также графические указания смысловоразличительных ударений в тексте: *потóm, ужé* и т. д. Это последнее обстоятельство свидетельствует о большом внимании, уделяемом Тредиаковским переводу.

В конечном счете, перевод либретто подтверждает особенности языка Тредиаковского первого периода творчества. Однако по сравнению с переводами комедий и интермедий, где «сохраняется тот же язык, что и в „Езде“», где «почти отсутствуют славянские формы» и отмечается присутствие и «фольклорного элемента», в «Силе любви и ненависти» отсутствуют явные элементы просторечия и приказного стиля, очевидно, в связи с жанровой природой текста (см. [21. С. 95—96]).

3. Самые интересные наблюдения можно сделать в стихотворном плане. Сам факт применения переноса⁸ делает переводы интересными со стиховой точки зрения, но еще более интересной является сама стихотворная форма поэтических текстов. Их всего 27 и все выполнены безрифменным стихом, хотя итальянские подлинники характеризуются сложными рифменными построениями. Как ни странно, именно отсутствие рифмы делает эти стихотворные переложения интересными для истории русского стиха. Но прежде чем заниматься сложным вопросом о рифме, обратимся к метрической природе текстов.

Арии переданы почти исключительно 11-сложниками и 9-сложниками. Если учесть, что только за год до того Тредиаковский выпустил трактат «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», где старался реформировать систему русских размеров на тонической основе, небезынтересно будет обратить внимание на его высказывания по поводу этих двух метрических форм. Если относительно 9-сложников, как и вообще коротких размеров, Тредиаковский только уточняет, что «ничего в себе стиховного, кроме слогов и рифмы, не имеют» [22. С. 377], то 11-сложнику, любимому размеру многих поэтов-силлабистов (в том числе и Симеона Полоцкого), он посвящает несколько абзацев, приводя и примеры. Как и в предшествующей русской силлабике, 11-сложник Тредиаковского имеет цезуру («пресечение») после пятого слога, однако поэт-реформатор считает «лучшим» полустипише, «долгим слогом кончащее» [22. С. 368]. Таким образом, у Тредиаковского 11-сложник, или, как поэт его называет, «пентаметр, или пятимерный», распадается на два полустипишия (5—6) с пятью позициями обязательно ударными и с очевидным стремлением к хореическому ритму (*падение*, в понимании самого поэта).

Не вдаваясь здесь в вопрос, является ли 11-сложник Тредиаковского уже силлаботоническим размером, или он остается еще в русле силлабики (это последнее предположение более вероятно, так как частые смежные ударения и их нерегулярное распределение не благоприятствуют возникновению явно бинарного ритма), отметим, однако, что стихи вообще легкие, почти песенные:

Простя в красны дни приходит пастушка
Стадо при своем милом пастухе пасть.
О еслиб могла, многих по печалям,
Утешить болезнь при моем любезном! (№ 15)

На основе цезуры, если учитывать полустипишия отдельно (что и подсказывает графическая передача стихов, где после цезуры большой пробел), получаются почти регулярные 3-сложные хорей с чередованием мужских и женских клаузул:

⁸ Об отрицательном отношении Тредиаковского к переносу в рифменном стихе известно.

Как вам сердце дать,
не мое когда то,
Верная любовь
Вам есть не прилична;
Сердца не могу
Ни руки отдать вам... (№ 11)

То, что размер, использованный Тредиаковским, гибок и разнообразен, явно вытекает и из других примеров, где медитативно-печальные интонации переносят форму в другой круг жанровых ассоциаций.

Если отрывок «Ясны очи! уж с вами разлучаюсь» (№ 2) характеризуется элегической тональностью и явно примыкает к жанру любовной песни⁹, то ария «Будь друг, будь тиран, презирать как знаю» (№ 3) ритмически передает — краткостью словесных единиц и ударными столкновениями — взволнованность души, объята любовью и ненавистью¹⁰. Более плавно реализуется 11-сложник арии «Кормщик боязлив в море корабль правя» (№ 4), где медитативно-аллегорическому строю стихотворения соответствует более регулярный ритмический рисунок стиха.

Что касается 9-сложника, то он гораздо меньше разработан, хотя и здесь намечаются интересные особенности. В частности, размер состоит из девяти слогов без какой-либо упорядоченности в распределении ударений и без сечения. Действительно, арии написаны белым, чисто силлабическим стихом (отсутствует даже константное ударение на предпоследнем слоге), чья ритмичность, в отсутствие рифменного окончания, могла бы проявиться лишь при речитативном чтении.

Вот один пример:

Чувствую, что праведным гневом
Все мое горит теперь сердце;
Я изменнической смелости
Терпеть все конечно не могу.
Как станут казнить дерзновенна,
Ко всему купно нечестива;
Тогда я весел быть имею. (№ 17)

Интересно заметить, что в арии «Гнев твой меня не устрашает» (№ 22) наблюдается эквиметрическое соотношение с итальянским оригиналом.

Итак, несмотря на некоторую небрежность, на частую непоследовательность ритмического и композиционного порядка, стихотворные переводы арий нельзя считать простым подстрочником, и до известной степени можно даже предполагать, что они служили Тредиаковскому для его экспериментаторских целей.

4. Именно с этой точки зрения стоит проанализировать самую поразительную особенность переводов: их безрифменный характер.

Отношение Тредиаковского к рифме было сложным, на разных этапах его литературного творчества оно существенно менялось. В трактате 1735 г. Тредиаковский считал рифму если не обязательным элементом стиха, то предпочтительным — по примеру французской версификации. По поводу коротких размеров он, например, пишет: «А ежели б отнять у них рифму, то бы они не были российские стихи, но некакие итальянские, для того что у итальянцев стихи иногда рифм не имеют» [22. С. 409]. И потом уточняет: «Рифма в наших стихах хотя не такое нечто главное, без чего стих не может стихом назваться и различиться от прозы, однако такое нечто нудное, что без нее стих наилучшего своего украшения лишится» [22. С. 409].

Существенно заметить, что Тредиаковский применял белый стих и раньше

⁹ О новой роли любви в лирике Тредиаковского и о ее связи с петрарковской традицией см. [23].
¹⁰ В итальянском оригинале первая ария написана песенным 8-сложником, вторая короткими 6-сложниками с явной ритмико-синтаксической симметрией [12. Р. 19, 23].

(см., например, «Стихи Анне Иоанновне» 1732 г.) и, несмотря на свой трактат 1735 г., вскоре изменил свое мнение о рифме. Развитие взглядов Тредиаковского на рифму точно описал Гуковский: «Не менее решительно, чем немецкие писатели, высказался по вопросу о рифме Тредиаковский. Естественно, что именно он, обосновавший новую теорию стиха на признаках его внутреннего строения, наиболее враждебно относился к рифме, дававшей более легкую форму определения стиха и может быть помешавшей ему самому в первом издании „Способа к сложению российских стихов“ дойти до тех конечных выводов, которые сделал уже Ломоносов. Тредиаковский стал отрицать рифму в конце своего творческого пути, тогда, когда окончательно укрепленный в русской поэзии метр был уже, по его мнению, достаточно силен, чтобы попытаться вытеснить рифму, не нуждаясь в ней больше для легкого и очевидного отделения стихов от прозы» [24].

Действительно, белый стих становится важной областью в творческих исканиях позднего Тредиаковского, особенно в связи с «Телемахидой» и с интересом к античным образцам, однако то обстоятельство, что поэт уже в 1736 г. пытался писать белым стихом, — явное доказательство того, что вопрос о безрифменном стихе волновал его уже в первой фазе его реформаторской программы. Интересно попутно заметить, что в эти же годы Тредиаковский связывает белый стих не только с античной поэзией и народной эпикой, но и с итальянским стихосложением, так что он переводит белым стихом именно итальянские арии, даже если они, как в данном случае, написаны рифмами.

Наверное, таким образом, он думал функционально передать национальный характер итальянской поэзии и, в то же время, быть свободным в применении несвойственной по бытовавшим в то время мнениям стиховой формы, оправдывая себя ссылкой на стиховую культуру переведенных текстов. Факт, что ссылка на итальянские стихи вообще служила веским обстоятельством для применения белого стиха и в русской поэзии, явно подтверждается Кантемиром в его трактате 1744 г.

Заманчивое предположение, что переводы Тредиаковского предназначались для исполнения, не находит достаточных оснований и требует дальнейших изысканий. Здесь можно только отметить, что, отказываясь от рифмы, Тредиаковский кладет в основу стиха лишь «падение». Это понятие явно относится к сфере звуковой передачи текста, о чем говорится в «Новом и кратком способе»: «Через падение: гладкое и приятное слуху чрез весь стих стопами прехождение до самого конца (...) Падение латыни, в рассуждении их поэзии, называют *cadentia*; а французы в рассуждении своей: *cadence* [22. С. 369] ¹¹.

5. Переводы либретто Праты вызывают естественный вопрос: какое отношение они имеют к книжным песням, к кантам, и, в частности, к песням самого Тредиаковского, долго бытующим в рукописных песенниках XVIII в. ¹² Проблема эта, разумеется, не только метрического уровня, но преимущественно жанрово-тематического, так как несколько переводов представляют собой интересные образцы для лирической поэзии.

Канты первой половины XVIII в. и любовные песни рукописных песенников написаны, главным образом, рифменным стихом, и с этой точки зрения переводы Тредиаковского кажутся явлениями другого порядка ¹³. Нельзя, однако, категорически отрицать возможность, что Тредиаковский хотел дать новые примеры для данной традиции. Можно, однако, констатировать, что его переводы из-за их необычной формы — и конечно из-за их неуклюжих поэтических решений (я не хочу преувеличивать их эстетическое качество) — не смогли выйти за рамки переводного пособия (мне пока не удалось найти их в песенниках).

Несмотря на все выше сказанное, переводные арии представляют ценнейший

¹¹ О значении «голосов» немецких и французских песен для строения стиха песен Тредиаковского см. [8. С. 163—164].

¹² О песнях Тредиаковского см. работы Позднеева, Т. Ливанова, Ю. Келдыша.

¹³ См., например, песенник, описанный В. Чернышевым в [25].

сборник разных по тематике, жанру и интонации образцов. Среди арий итальянского либретто, кроме тех, которые связаны с действием оперы и поэтому очень зависят от мелодраматических ситуаций, ТрEDIAKовский мог найти интересные стихотворные миниатюры, которые, будучи отделены от специфического сюжета оперы «Сила любви и ненависти», могли бы превратиться в образцовые песни разной тематики.

Некоторые из них можно истолковать в духе пасторальной лирики, другие, передающие разные настроения, чувства, страсти, порывы «лирического героя», близки песенной традиции и даже медитативной лирике. Кроме того, любопытно подчеркнуть, что некоторые тематические черты и лирические настроения нельзя считать вполне освоенными поэзией того времени.

Если ария «Бедной горе мне! Вся крушусь без меры» (№ 7) (где, между прочим, проведена тема «горлицы печальной» от расставания с другом) более или менее укладывается в русло традиции, то сложная и противоречивая тональность других пьес — например, «Крови я хочу токмо и убийства» (№ 23), «Иду умирать; только не подумай» (№ 18), «Как Вам сердце дать, не мое когда то» (№ 11), — наряду с разнообразными эротическими стихотворениями книги «Езда в остров любви», представляет собой целый комплекс лирических тем и поэтических мотивов, которые только начинали входить в русскую поэзию.

Другие арии тоже вписываются в русло традиционных для русской песенной традиции тем и мотивов. В этой связи интересно отметить присутствие среди переводов нескольких текстов, относящихся к морской теме: «Кормщик боязлив в море корабль правя» (№ 4), «Кто отъедал штурм, хоть и убегае» (№ 19), «Кажет тишину, бурюж тая море» (№ 20). Тема морских путешествий была очень популярна в песенниках (см. анонимную песню «Буря море раздымае») и часто встречается и в оригинальной поэзии ТрEDIAKовского (см. [26]).

Почти все переводные арии можно отнести к жанру любовной песни. Как известно, именно в этом жанре ТрEDIAKовский уже в книге «Езда в остров любви» старался создать новый поэтический язык и, в частности, эквиваленты французской галантной фразеологии. В этой перспективе в переводе ТрEDIAKовский нашел импульс для создания новых поэтических выражений и сочетаний, стремясь передать шаблонные поэтические формулы итальянского оригинала: *жестокость любит, отдай страстям вольность, сердцем трепещу с страха, киньте свою страсть, не могу любить вас* и т. д.¹⁴

ТрEDIAKовский, несмотря на некоторую небрежность (в конечном счете, перевод был сделан по заказу и выбор не был художественно ориентирован), соблюдает те же переводческие принципы, которыми он руководствовался, переводя Таллемана: 1) не исказить содержание оригинала; 2) изложить в стихотворной форме; 3) передать его поэтическим языком (см. [2. С. 23]).

В заключение представляется целесообразным отметить, что этот перевод ТрEDIAKовского начинает богатую переводческую традицию итальянских музыкальных либретто — от Сумаркова до Баркова, от Княжнина до Дмитриевского, от Левшина до Державина и Мерзлякова, — глубоко отразившуюся и в генезисе и в развитии русской национальной либреттики. Пожалуй, в этом пока еще не признанная заслуга гениального поэта, «труженика» и «педанта».

/1/ Сердце, что кипит толь во мне все гневом
Хочет токмо мстить и за вас же биться;
А изменник, ей! устоять не может.
Буду весел я, выдачи спесива
С страха как полмертв побежит он скоро,
Храбрых ваших сил первых от стремлений.

/2/ Ясны очи! уж с вами разлучаюсь;
Тешаж сердце мне, на меня взгляните:

¹⁴ Об отождествлении любви с сетями и с гибелью у ТрEDIAKовского см. [23].

Лучше я по сем, так же и крепчае,
Понесу болезнь, и мои печали.

/3/ Будь друг, будь тиранн; презирать как знаю
Хоть бы милость мне, вашу хоть жестокость.

В муке, что стражду ныне я не сносна,
Сердце как, так я, равно не боимся.

/4/ Кормщик боязлив в море корабль правя,
Весь на всякий час тамо умирает:
Кажется ему, все что судно гибнет,
Видя и мал ветер, он пропасть боится.

Если будет смел, в порт приедет щастлив,
В радости уж труд, что понес, всем славит.

/5/ Знай, что я отец, знай, что ты моя дочь:
Я хочу, чтоб мне ты была послушна.

Чтоб сего ты дня выходила за муж,
иль изменник тот в узах своих умрет.

/6/ Путнику в пути что отчаяваться,
Темна ночь когда покрывает небо!

Веть заря потом светла возвратится,
Вывесть чтоб опять всем златое солнце.

/7/ Бедной горе мне! вся крушусь без меры,
Равно как всегда горлица печальна,
Друга что ища узрит что пойман.

Так иду искать и я мужа в узах.
Горлица всегда, он где, прилетает,
А потом опять к своему жилищу.

/8/ Не инак грозит, купно лев скрежешет
Хищением горд да и не бояся
Ничто путник есть, ни ловец что блиско
Видяж свет огня, всю теряет дерзость,
Так же ярость всю, будтоб не бывал зол.

/9/ Аб. В последние со мной простившись,
Останься, мое сокровище,
И пребуди мне всегда верна.

Нир. Я хочу следовать за вами,
Буде вы мя оставляете,
Увы! как вы очень мне жесток.

Аб. За что жестокость называешь?
Нир. Что покидаешь, буде любишь?

Оба Кто, увьи! когда толь имел часть горьку?

В толь я великом нещастии;
О вас токмо весьма боюся,
Увы! что в таком страдании,
Не надеюсь себе покоя.

/10/ Возвращаюся в мои узы,
И иду уже теперь на смерть;
Правда, сердце ж сие есть мое,
И вы мне то уступаете.

Любезнейшая моя! прости.
Вспоминай о моей любви,
И никогда мя не забывай.

/11/ Как вам сердце дать, не мое когда то,
Верная любовь вам есть не прилична;
Сердца не могу ни руки отдать вам.

Я есмь чья жена, ведать то вам можно:
Токмо я того содержу все в мысли
Киньте свою страсть, не могу любить вас.

/12/ Зрю, что упаду, как падет горы верьх,
За собой влекущ что ни попадется.

Отдален пастух хоть и не задавлен,
Однак слыша шум в страх велик приходит.

/13/ Стать против могу, хоть источник быстрый,
Скор что берега хочет збить и слюзы.

Сердце же твое надеяться может
Ревность на мою, купно и на храбрость.

/14/ Возвратись любовь паки в мое сердце,
Отдай страстям вольность моим целу.

Кто желает мстить, и жестокость любит,
Но всегда ему делом удастся.

/15/ Проста в красны дни приходит пастушка
Стадо при своем милом пастухе пасть.

О еслиб могла, многих по печалях,
Утишить болезнь при моем любезном!

/16/ О ношньные привидения
Толь мою мучащие душу!
Престаньте сжалившись мне вредить,
И терзать мое бедно сердце.

/17/ Чувствую, что праведным гневом
Все мое горит теперь сердце:

Я изменнической смелости
Терпеть всеконечно не могу.
Как станут казнить дерзновенна,
По всему купно нечестива;
Тогда я весел быть имею.

/18/ Иду умирать; только же подумай,
Что вы мой отец, и что вы мне дали
Сердце таково, что быть злым не знает.

Вы хотите уж, чтоб я умирала;
Прав есть ваш указ, а вино часть горьку
Токмо та одна, что губит мя ныне.

/19/ Кто отъедал штурм, хоть и убегает,
однако же он ветра все боится;
По прибыти в порт, токмо зрит на море.
Так же я смотря купно рассуждая
О нашем беде, что грозит нам вредна,
Сердцем трепещу с страха я велика.

/20/ Кажет тишину, бурюж тая море;
Самый малый ветр волны подымает.
Еслиж сердце мне да не утеснится;
Духа моего буди о гнев волен.

/21/ Хоть на троне я хоть среди Армеи;
Сердце никогда мне не изменится.
Битвы не боюсь; и меня увидят,
Коль всяк час напасть храбро презираю.

/22/ А. Гнев твой меня не устрашает,
С. Однако ты умрешь, изменник.
б. Я не смотрю на твою бодрость,
Т. Нет ни жалости, ни милости?

С. б. Умрет он, то ему и милость.

Т. Токмо для него, милости прошу в вас.

А. Милости у них не прошу себе я.

С. Еще постояствуешь?

А. Не боюсь я ничего.

Т. Гнев извольте утишить.

А. Не страшусь я ни мало.

Т. Милость, государь: милости прошу в вас.

С. б. Нечестив падет у моих ног скоро.

А. Ваша уж болезнь становится подла.

Т. Правда что болезнь, но весьма не подлость.

/23/ Крови я хочу токмо и убийства,
С престола Царя так же горда свергнуть.

Буде не спасу мне любезна брата;
Меч послужит сей и рука моя в месть.

/24/ В несносной, увы! толь теперь печали,
Прежде нежел меч сердце прободает,
Сердце, что во мне умирает, слышу.

/25/ Правда буде то, ревность что горит в вас,
Защищай, спасай здесь любезна мужа,
И люби всегда, он любви достоин.

Будь я заслужил, почитай в подарке
приносящу вам спасение руку,
А больше сего не прошу от вас я.

/26/ Пастушке молодой люб источник, холм, луг,
Видит та когда что прошло ненас(т)ье,
И что солнце уж тучи разгонило.

Равно будет мне весело и люблю,
Будучи с моим поминать любезным
О болезнях всех, что я претерпела.

/27/ Да живет любовь! купно ея пламень:
Мир нам подала, щастие и всем нам.

Жестока вражда быть уж перестала,
Токмо что любовь явно торжествует,
И наши сердца с радости играют.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка. М., 1985.
2. Дерюгин А. А. Третьяковский — переводчик. Саратов, 1985.
3. Венок Третьяковскому. Волгоград, 1976.
4. Перетц В. Н. Итальянские комедии и интермедии, представленные при дворе Анны Иоанновны в 1733—1734 гг. Пг., 1917.
5. Moose R.-A. Annales de la Musique et des musicuens en Russie au XVIII siecle. Geneve, 1948. Т. I.
6. Гозенпуд А. А. Музыкальный театр в России. Л., 1959. С. 39—41.
7. Келдыш Ю. В. Русская музыка XVIII в. М., 1965.
8. История русской музыки. М., 1984. Т. 2.
9. Goldoni C. Tutte le Opere. Milano, 1955. Т. I. P. 687—689.
10. Гинзбург С. Л. Русский музыкальный театр (1700—1835). Л., 1940. С. 17.
11. Примечания на ведомости. 1738. Ч. 47—49.
12. Prata F. La Forza dell'amore e dell'Odio dramma per ordine della S. I. M. Anna Giovannonna. S. Pietroburgo, 1736.
13. Сводный Каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII в. Л., 1985. Т. 2. С. 316—317.
14. Прата Ф. Сила любви и ненависти. СПб., 1736.
15. Сводный каталог русской книги XVIII века (1725—1800). М., 1964. Т. 2. С. 463.
16. Самаренко В. П. В. К. Третьяковский в Астрахани (Новые материалы к биографии В. К. Третьяковского)//XVIII век. Л., 1962. Сб. 5. С. 358—363.
17. История русской поэзии. Л., 1968. Т. 1.
18. Чешихин В. История русской оперы. М., 1905. С. 42.
19. Винокур Г. О. Русский литературный язык в первой половине XVIII в.//Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 129.
20. Алексеев А. А. Эпический стиль «Телемахидь»//Язык русских писателей XVIII в. Л., 1981. С. 73.
21. Алексеев А. А. Эволюция языковой теории и языковая практика Третьяковского//Литературный язык XVIII в. Проблемы стилистики. Л., 1982.
22. Третьяковский В. К. Новый и краткий способ к сложению российских стихов... (1735)//Третьяковский В. К. Избранные произведения. М.-Л., 1963.
23. Lachmann R. Pokin, Cupido, stirely. Bemerkungen zur Popik der russischen Liebesdichtung des 18. Jahrhunderts//Slavistische Studien zum VI. München, 1968. S. 449—474.
24. Гуковский Г. Русская поэзия XVIII в. Л., 1927. С. 106—107.
25. XVIII век. М.-Л., 1940. Сб. 2. С. 275—292.
26. Позднеев В. В. Рукописные песенники XVII—XVIII вв.//Ученые зап. Московского гос. заоч. пед. института. М., 1958. Т. 1. С. 88.



© 1995 г. ЧОВИЧ Б.

МОТИВ ИНСТИНКТ СМЕРТИ У ИВО АНДРИЧА И ИВАНА БУНИНА

«При жизни отказаться от жизни».
И. Андрич. Знаки вдоль дороги

«Стремиться к совершенству формы
выражения — это значит находиться на
службе у содержания».
И. Андрич. Еще раз о стиле и языке

Нет сомнений, что отдельная интерпретация — основа всякого литературоведения [1. С. 129]. При этом, разумеется, следует остерегаться того, чтобы она сделалась самоцелью, лишая исследователя способности связать анализируемый фрагмент с целым, разглядеть за деревьями лес. Поэтому целесообразно не замыкаться на тщательном анализе отдельного произведения, следуя совету Андрича писателям в связи с вопросом стиля: «Не следует идти до конца (до дна) возможностей стиля. Ни в коем случае! Не надо быть чересчур усердным и последовательным в работе над стилем, ибо нужно знать, что нас всегда поджидает невидимая и скрытая большая опасность от превращения нашего стиля в самоцель» [2. Т. XVI. С. 297]. Однако большая опасность угрожает с другой стороны: без анализа литературно-художественного произведения можно незаметно придти к голословности и к более или менее произвольным выводам, не имеющим опоры в словесно-эстетической структуре. Именно из-за отсутствия этих отдельных интерпретаций у нас все еще нет целостности поэтики Андрича и даже поэтики какого-либо из его романов. Правда, первые значительные шаги в ее изучении связаны с появлением около десяти лет назад монографии И. Тартали «Эстетика рассказчика. (К вопросу изучения поэтики Андрича)». Недавно вышла монография О. Кирилловой о поэтике Андрича [3], базирующаяся на современных структурных параметрах. Эта небольшая, но исключительно содержательная книга заняла тот сегмент «территорий» андричеведения, который в нашей науке не полностью занят и по-настоящему не осмыслен. Это — поэтика, стремящаяся к целостному охвату.

Целью стилистического анализа является ответ на вопрос: как удастся писателю поместить «хрупкое», отдельно взятое слово, рядом с другими более или менее близкими словами таким образом, чтобы оно получило особую эстетическую

и смысловую «нагрузку». Такие слова доминируют, благодаря особому месту и роли в определенных сегментах художественной структуры. Исследование доминантной роли слова позволяет оценить эстетические достоинства произведения. Кроме того, при помощи системы «доминант» исследователь пытается уловить основную идею литературного произведения в целом, равно как и его отдельного, ключевого сегмента. Необходимость такого отдельного анализа косвенно подчеркивается Иво Андричем: «Несмотря на объем, богатство и разнообразие произведения, над которым работает писатель, несмотря на то, насколько уходят ввысь и вширь его планы, работа писателя остается тесно связанной с отдельным фрагментом, с одной картиной, с одним персонажем, с одним словом» [2. Т. XII. С. 53].

Если Красота является подлинным предметом искусства слова, то трагическая красота является его вершиной. Если трагическим является «непримиримое» (Гете), то непримиримость «трагизма красоты в том, что она не может не существовать, но в то же время не может длиться, оставаясь неизменной» [2. Т. XVI. С. 225]. Если же самым печальным предметом является Смерть, то тем более поэтичной будет ее связь с красотой; «„смерть красивой женщины“, таким образом, несомненно является самым поэтическим предметом» [4. С. 384]. Полагая, что приведенные элементы составляют существенную для словесного искусства тематическую единицу текста — мотив трагической красоты,— отметим, что Андрич и Бунин, несомненно, внесли ценный вклад в разработку вариантов этого мотива, который мы условно назовем мотивом инстинкта смерти, противоположного инстинкту самосохранения. Импульс к такому обозначению этого мотива связан с соответствующим рассуждением Андрича: «С одной стороны — желание найти выход и во что бы то ни стало убежать из этой жизни в свободу небытия, которое постоянно зовет нас и притягивает с необыкновенной силой. С другой стороны — инстинктивная любовь к жизни и постоянное стремление к тому, чтобы существовать здесь и остаться навсегда. Это две только на первый взгляд несовместимых и противоречивых вещи» [2. Т. XVI. С. 121]¹.

И Андрич, и Бунин расширяли в ряде произведений семантический объем мотива трагической красоты, внося в него новые элементы: мудрость, гордость, возвышенный этический идеал. Этот новый смысловой ряд у каждого из них имеет свои особенности и направление развития. На протяжении полувека Андрич создал трагические образы, сочетающие «ангельскую красоту» и этический идеал. Среди них — Катинка, «дочь Андрии Полаша, несчастная из-за своей красоты, о которой пели две песни по всей Боснии» («Путь Алии Джержелеза». 1920); Мара, чей разум помрачился из-за «тяжких мыслей о грехе и стыде», вызвав равнодушие к жизни («Наложница Мара», 1926); амбивалентный образ святой и порочной Аники, упрямой и гордой (что сближает его с образом Настасьи Филипповны), как спасения ждущей руки палача, что в свою очередь роднит ее с образом Оли Мещерской из бунинской новеллы «Легкое дыхание» («Времена Аники»), 1927); образ Фатимы Османагич, которая «в себе носила весь ужас смерти и весь ужас жизни во сраме» и выход из «безысходности своей судьбы» пошла искать на вишеградском мосту, «в самом безысходном месте» (Повесть о Фатиме Османагич из романа «Мост на Дрине», 1943); мать Костаке Ненишану, еще один из образов трагической красоты, «которая длится недолго и кончается печально» («Омер-паша Латас», 1976); Ягода, стремящаяся «отвыкнуть» от жизни, внушая себе, что «не надо смотреть, и дышать не надо», а выход находит в смерти между прутьями клетки, в которой она выставлена на площади для продажи как рабыня («Рабыня» из цикла новелл «Дом на отшибе», 1976).

В галерею образов, «с младенчества имеющих обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)» [5. С. 23], входят

¹ Здесь нельзя не учитывать и личного опыта Андрича, который, как и юный Арсеньев «с младенчества имел обостренное чувство смерти»: «Ни у младости ... ја сам нисам био срепан ни миран ни весео. Већ тада сам познавао исте овакве дане, недеље и месеце безизлазног очаја и жеље: да умрем» [2. Т. XVI. С. 218].

многие персонажи, созданные Буниным в течение полувека, начиная с повести «Деревня» (1909): это и почти все герои «Жизни Арсеньева» (1927—1929, 1933), включая самого рассказчика, который тоже «принадлежал к подобным людям» с обостренным чувством смерти², и многие герои последнего сборника рассказов «Темные аллеи» (1946). Среди наиболее ярких из них — образ пятнадцатилетней гимназистки Оли Мещерской из новеллы «Легкое дыхание» (1916).

Если в «Вороне» Эдгара Аллана По трагизм смерти девушки «ангельской красоты» усиливается тем, что о ней говорит ее возлюбленный (как это подчеркивает По в собственной трактовке данного стихотворения [4. С. 384], то трагические судьбы Фатимы Османгич И. Андрича и Оли Мещерской И. Бунина задуманы и обрисованы при помощи таких стилистических средств и приемов, что мотив инстинкта смерти становится сложной, хотя и миниатюрной, поэтической структурой, в которой старый мотив трагической красоты приобретает новое философское измерение — возвышенных этических идеалов трагического героя. И Оля Мещерская и Фатима Османгич происходят из знатных семейств, в которых дорожили личным достоинством, и поэтому они не готовы принять «всего ужаса жизни в позоре» и выбирают смерть, как бегство «в свободу небытия» [2. Т. XVI. С. 121].

Возникает вопрос: имеем ли мы в данном случае дело со случайным совпадением мотивов и поверхностных стилистических средств, или с двумя эпическими структурами «с глубинными и трудноуловимыми связями и сходствами»? [2. Т. XII. С. 61]. Представляется, что речь идет как раз о глубинных связях:

1. Совпадают концепции главных персонажей: во имя высших этических принципов они готовы «при жизни отказаться от жизни»; обе героини после трагической гибели остаются надолго в памяти окружающих (Фатима — в Вишеграде и, шире, во всей Боснии, так как она стала символом легендарной храбрости, гордости, мудрости и красоты; Оля — в провинциальном городке, в памяти ее классной дамы, которая в этом находит смысл своей жизни). Кроме того, обе они, как «незаурядные личности незаурядной судьбы», в конце новелл предстают в развернутых метафорах, становятся символами роковой неземной красоты, гордости и моральной чистоты. При этом Фатима становится героем боснийского фольклора, образ Оли Мещерской посредством сложной семантической трансформации «доминанты» — синтагмы «легкое дыхание» приобретает высший метафизический смысл — всеобщей памяти о роковой красоте и всеобщего сочувствия к ней.

2. При внимательном сравнительно-стилистическом анализе этих двух новелл можно отметить сходство в употреблении стилистических средств, прежде всего повторов³ со «сквозными» структурно-семантическими конструкциями — или идентичными, или в форме синонимических вариантов, содержащих контрасты, сравнения, метафоры. Почти все эти конструкции участвуют в реализации общего мотива инстинкта смерти.

Цель настоящего исследования — установить систему «доминант» и их роль в интеграции текста как внутри каждой новеллы в отдельности, так и в их совокупности. Новелла Андрича рассматривается и в ее соотношении со всем романом как с целостной эпической структурой⁴.

3. Между этими двумя новеллами существуют еще некоторые важные совпадения: прежде всего трагическая концовка, которая в обоих случаях помещена в начало, что, по мнению Л. С. Выготского, существенно влияет на восприятие всего дальнейшего повествования [6]. Это наблюдение Выготского относится как

² Ср.: «Заболел я поздней осенью. Что же было со мной? Я испытал внезапное ослабление всех своих душевных и телесных сил, чудодейственную перемену, совершающуюся в такие часы во всех пяти человеческих чувствах, — в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании; испытал неожиданную потерю желания жить...» [5. С. 37—38].

³ Функции ритмических повторов разнообразны: например, в вводной главе при описании центральной части моста повторяется наречие «здесь», за каждым из этих повторов следует основная тема последующих глав [2. Т. 1. С. 83].

⁴ В этом смысле значительным кажется повторение мотива о Фатиме (опосредованно — через песню о ней) в связи с трагической судьбой молодой учительницы в XIX новелле романа «Мост на Дрине» — как одно из имплицитных средств интеграции отдельных новелл в романное целое.

раз к бунинской новелле, являющейся предметом нашего исследования⁵. Оба текста сближают и сложный стилистический орнамент, создаваемый при помощи разнообразных повторов и целого ряда эксплицитных и имплицитных контрастов, равно как других вспомогательных средств, которых больше у Андрича (эпифоры, анафоры, анадиплосисы)⁶.

Контраст является сугубо рациональной риторической фигурой, характерной для драмы: и выражающей конфликт, столкновение. Повтор принадлежит к эмоциональным, музыкальным фигурам, при помощи которых выделяется, подчеркивается определенный элемент информации, чтобы дать размах повествованию. Если эти фигуры использовать совместно, то они делают эпическую структуру смешанной — драматическо-лирической (драма соседствует с лирикой). Это общая черта не только отдельных новелл в романе «Мост на Дрине», но и многих других эпических структур. Сложный стилистический рисунок дает импульс для ассоциаций, которые потенциально содержатся в эпической структуре, делают ее загадочной, тем самым увеличивая информативность текста. Все это характерно для символической прозы, в отличие от прозы метонимической, где почти все дано в эксплицитном виде [7].

Оба писателя в реализации мотива инстинкта смерти пользуются приемом стержневых структурно-семантических конструкций, так называемых «доминант» (одного из фундаментальных понятий и всесторонне освещенных терминов раннего русского формализма), играющим в эпической структуре, в частности, роль «интегрирующего средства» [8. С. 85—93]. В данном случае доминанта несет всю конструкцию произведения в целом, следовательно, ее можно назвать и конструктивной доминантой. Намного раньше теоретиков на это явление обратили внимание сами художники. Так, например, у А. Блока можно встретить метафорическое замечание о стихотворении, построенном на «доминанте»: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды» [9. С. 63]. Это *mutatis mutandis* относится к любой структуре, отличающейся «динамической формой», в которой элементы речевого ряда находятся в сложном взаимодействии, в результате чего одна группа элементов выделяется за счет других. Выдвижение конструктивной доминанты предполагает деформацию остальных элементов [10]. «Иными словами, при установке словесного ряда на максимальную ошутимость какой-нибудь отдельный элемент (или группа сродных элементов) неизбежно приобретает характер конструктивной доминанты» [8. С. 89] (разрядка наша.— Б. Ч.). Одна группа слов или конструкций выдвигается за счет другой и в двух рассматриваемых новеллах.

В многочисленных статьях, посвященных вопросам стиля, Андрич объяснял свои стилистические приемы, в частности, указывая на функцию доминанты в эпической структуре: «Главная движущая сила и каркас любой новеллы, любого отдельного эпизода в ней, содержится в одной удачно подмеченной мысли, в одном верном художественном образе. Они в этой структуре напоминают матку в улье. В ней содержится семя, дрожжи для всего остального. Ибо ценность этой, на скорую руку и неразборчиво записанной фразы не в ней самой, а в легкости и избыточности, с которой потом, следуя за ней или перед ней, роятся мысли и образы, связанные с ней невидимыми нитями» [2. Т. XII. С. 53—54].

⁵ Однако нельзя согласиться с Выготским, что без упоминания о трагической смерти Мещерской в начале поэмы, роман между молодой гимназисткой и офицером был бы пошловатым.

⁶ Примеры анафоры: «Ту се само живи, истински, ведро и дуго; ту нема речи које тешко обавезују ... Да, ту није као у дневном животу. Ту је све слободно, бескрајно, безимено и нема» [2. Т. I. С. 129]; «Ту, на мртвој тачки, између свога де и очевог да, између Велег Луга и Пезука, ту, на најбезизлазним месту треба тражити излаз» [2. Т. I. С. 130].

Примеры эпифоры: Али ноћу, тек ноћу [2. Т. I. С. 128]; «Само судбина, њена судбина [2. Т. I. С. 129]; «...са којим се осећа једно, нераздельиво, слатко једно» [2. Т. I. С. 129].

Примеры анадиплосиса: «Да, свет је велик, огроман је свет» [2. Т. I. С. 128]; «Од тога дисња дрвени демир на прозору пада и расте, пада и расте» [2. Т. I. С. 128]; «И све тако: напред-патраг, напред-патраг» [2. Т. I. С. 130].

В новелле Андрича — два стержня, несущие всю конструкцию: жизнелюбие главной героини, выраженное в форме развернутой метафоры, где в основу взят распространенный антропоморфизм «роскошное дыхание земли» («весь холм, вместе с тем, что расположено на нем, с домом и с другими строениями, нивами, дышит, тепло, глубоко, однообразно, поднимается и опускается вместе с светлым небом и ночным пространством» [2. Т. I. С. 128—129]) и дилемма Фатимы о том, как найти выход из «безвыходного положения», ибо она «носила в себе весь ужас смерти и всю чувственность жизни в позоре» [2. Т. I. С. 131]. Большую часть новеллы занимает «внутренний монолог» Фатимы, полный нарастающего драматизма, с поэтическими повторами, т. е. со стилистическими признаками, присущими поэзии (анафора, эпифора, анадиплосис, разнообразные параллелизмы из эвфонических элементов), подчиненными одной цели — передаче чрезвычайной восприимчивости гордой, мудрой, храброй героини, обладающей высокими этическими принципами и готовой ради них пожертвовать собой. Ее психологический портрет рисуется последовательно и четко: начиная с драматической завязки, в которой намечается внутренний конфликт, через нарастающие остроконфликтные ситуации, требующие поиска выхода: или «умереть или жить в позоре» [2. Т. I. С. 129], и кончая трагической развязкой. Фатима разрывается между верностью своему и отцовскому слову, между чувством долга и врожденной гордостью, между инстинктом смерти и инстинктом самосохранения. Выход из этого «безвыходного положения» она находит в волнах реки Дрины. Едва ли во всей нашей литературе можно найти подобный по совершенству исполнения психологический портрет. Среди стилеобразующих и композиционных принципов доминируют параллелизмы и явные или завуалированные контрасты.

Оля Мещерская в сущности стоит перед такой же дилеммой — «умереть или жить в бесчестье». Она тоже не в силах вынести позора, после того как ее обесчестил брат «начальницы школы». Мотив инстинкта смерти реализуется у Бунина при помощи почти таких же стилистических средств и приемов, как у Андрича, однако оппозиция мотиву самосохранения выражена здесь имплицитно — на протяжении всей новеллы подчеркивается веселая натура и божий характер красивой и гордой Оли, в то время как у Андрича эта оппозиция дана эксплицитно.

Естественно, в реализации общего мотива наряду со сходными Андрич и Бунин используют и индивидуальные стилистические средства и приемы. Например, в обоих произведениях о смерти главной героини говорится в самом начале, после чего следует повествование о причинах, приведших к трагической развязке, т. е. использована так называемая кольцевая композиция. Но Андрич этот принцип концентрических кругов применяет на протяжении всей эпической структуры (ср. [2. Т. I. С. 121, 133; 11]). Эпическое событие новеллы не только обрамляется такими кругами, но и вся композиция скрепляется рядом внутренних параллелизмов, объединяющих таким образом отдельные эпизоды внутри целостной структуры. Этим обеспечивается большая интегрированность текста и логическая точность в передаче идеи (если под этим понимать единство элементов значения внутри сложного знака — структуры). «Идея в искусстве, — утверждает Ю. Лотман, — ... всегда модель, ибо она воссоздает образ действительности» [12. С. 38]. Поэтому можно сказать, что Андрич строже и последовательнее в применении некоторых общих поэтических элементов и приемов. Основная идея у него слагается из ряда логически расположенных структурно-семантических конструкций; у Бунина — идея не одна, ибо его структура в высшей степени открыта, оставляя возможность различных толкований. Это может показаться на первый взгляд парадоксальным, поскольку в новелле Андрича более широко применяются упомянутые поэтические средства и приемы, что, казалось бы, снижает возможность «прочтения» художественной идеи. У Бунина — напротив — хотя стилистический рисунок его новеллы гораздо проще, в конце эпического события из-за «сочетания несочетаемых элементов» структурность текста увеличивается, так что становится невозможным единственное толкование текста. Здесь сказывается известный парадокс Потебни: поскольку интенции автора и

читателя почти никогда не совпадают, «читатель может лучше самого поэта постигать идею его произведений. Сущность, сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя, следовательно, в неисчерпаемом его содержании» [13. С. 181]. «Легкое дыхание» может послужить хорошей иллюстрацией «парадокса, свойственного художественному тексту: увеличение структурности приводит к уменьшению избыточности (т. е. возможности предсказания последующих элементов текста)» [12. С. 34—35]. Все в этой новелле загадочно, начиная с заглавной синтагмы и кончая ею же в самом конце, и подчинено функции реализации мотива инстинкта смерти как единственного выхода из позорного положения, которому предшествуют фазы равнодушия и отворачивания к людям. Благодаря увеличению структурности, в основном мотиве мерцают и другие, второстепенные мотивы: страсти и морального падения, греха и очищения, отщепенца и «самоотщепенца». По своей амбивалентности образ Оли во многом близок образу андричевской Аники (рассказ «Времена Аники», 1927), которая также выбирает среди близких ей людей своего палача. В то время как психологический портрет Фатимы целостнее и глубже и изображен на всех ступенях страданий и тягостных раздумий, оканчивающихся бегством «в свободу небытия», о переживаниях Мещерской можно лишь догадываться на основании ее дневниковых записей, поступков и отношения к окружающим ее людям. В концепции образа Мещерской много общего с Аникой, этой святой и падшей женщины, в свою очередь, обе они близки образу Настасьи Филипповны. О внутренних переживаниях и готовности умереть во имя очищения от греха сказано в одной-единственной фразе Аники: «Я была бы очень благодарна тому, кто убил бы меня» и Оли: «Теперь мне один выход».

Загадочность заглавной синтагмы бунинской новеллы усиливается в конце, когда эта бинарная конструкция дважды повторяется в необычном контекстуальном окружении. В результате этого осложнения, она начинает «указывать на нечто значительное, на нечто превосходящее трафаретную узость обыденных людских отношений» [14. С.45], т. е. становится символом, ибо смысл его «переливается далеко за пределы основного значения, отсылая ко многим идеям и эмоциям» [15. С. 481].

Тщетны попытки конкретизировать смысловые границы символа выделением его из одного сегмента текста, в котором он реализуется, ибо подлинный смысл трудно уловить, если исходить из основного значения, а смысловые границы становятся еще более неопределенными. Общеизвестно, что эстетическая ценность артефакта повышается в зависимости от трудности его интерпретации с точки зрения актуальной системы ценностей определенного периода или среды [16. С. 83]. Тем не менее, исследователь, приступая к анализу эпической структуры, должен учитывать все представляющиеся возможными идеи и эмоции, а после всестороннего анализа выявить наиболее вероятную из них.

В бунинской новелле у сквозной доминанты «легкое дыхание» два значения: номинативное и переносное. В первом значении «легкое дыхание» — одна из тайн женской красоты, о чем Оля Мещерская прочла в книге из отцовской библиотеки и пересказывает своей подруге. Но и это значение не поддается буквальному и однозначному толкованию: тайна женской красоты и в «умении/искусстве/спорости/дыхания». Однако в конце это словосочетание расширяет свой смысловой объем, метафоризируется, превращаясь в символ трагической красоты, судьбы героини, которая для ее классной дамы стала «предметом неотступных дум и чувств» [5. С. 411]. В последнем абзаце смысл «сквозной» синтагмы еще раз усложняется: «Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре» [5. С. 412]. Таким образом, ее смысл существенно отдалается от значения предшествующего сегмента текста (атрибут женской красоты), приближаясь к семантике эпизода новеллы Андрича, когда Фатима ночное небо воспринимает как «роскошное дыхание земли и бесконечного мира» (ср. [2. Т. 1. С. 128—129]). Между «легким дыханием», как одним из атрибутов женской красоты и Олей Мещерской, как

носителем этого и ряда других достоинств устанавливается метонимическая связь с логическим *tercium comparationis*, в котором значение одного предмета («легкое дыхание») относится к совокупности значений другого предмета (Оля Мещерская): к красоте, мудрости, гордости — как часть к целостному единству предмета. А метафорическое расширение смысла данной синтагмы на весь универсум («рассеялось в мире, в облачном небе, в холодном весеннем небе») способствует приобретению значения метафизической всеохватности. Деконкретизация смысла распространяется на все сегменты данной структуры. Анализ этой сложной эпической структуры обнаруживает, что она в целом является развернутой метафорой, в ней происходит процесс трансформации смысла стержневой синтагмы «легкого дыхания». Здесь содержатся мотивы трагизма красоты, грехопадения и раскаяния, отщепенства и самоотщепенства, равнодушия к жизни, инстинкта смерти и «бегства в свободу несбытия». В стержневой метафоре «легкое дыхание», как в фокусе, собирается и все то, что сказано и что может подразумеваться о главной героине. Зависимый, определяющий член — «легкое» из данной синтагмы сопоставим с андричевским «роскошным», так как и в бунинской и в андричевской новелле процесс метафоризации в развернутых метафорах начинается с отглагольного существительного «дыхание» («дах») в номинативном значении.

Навязчивая мысль — дилемма красивой, гордой, красноречивой и мудрой Фатимы определяет форму реализации всего эпического события: ритмические повторы структурно-семантических конструкций или варьирование уже раз высказанного являются общим принципом в организации всей структуры. Все эти элементы выступают в функции реализации основного мотива, равно как и ряда вспомогательных. Сам Андрич теоретически осмыслил иерархию основных и второстепенных тем, возникающих неожиданно в ходе работы из подсознания, из воспоминаний, составляющих суть художественного произведения, и характеризующих его гораздо лучше и шире, чем основные темы, хотя иногда присутствующих лишь в виде намека [2. Т. XVII. С. 159].

Вот как выглядит перечень структурно-семантических повторов в порядке их появления как носителей основного мотива и ряда вспомогательных, выступающих в функции намека на главный мотив:

1. Красота, мудрость, красноречивость, гордость семьи Фатимы Османогич (три повтора [2. Т. I. С. 121, 127, 133]);

2. Незаурядная личность Фатимы, необычная судьба (восемь повторов [2. Т. I. С. 122—133]). Как бы в подтверждение этой «незаурядности» выступает внутренний монолог с нагнетением повторов [2. Т. I. С. 128—129]);

3. Безвыходность положения Фатимы (шесть повторов [2. Т. I. С. 129—133]);

4. Бегство в «забвение от красоты ночи и бесконечного мира» (одна из двух развернутых метафор с открытым рядом повторов [2. Т. I. С. 128—129]);

5. Навязчивая мысль Фатимы о единственном выходе — в «безысходность» (целый ряд повторов [2. Т. I. С. 128—132]).

6. Приступы ночного кашля у большого отца как напоминание об отцовском обещании выдать ее замуж за немилого, вследствие чего «забвение от красоты ночи и бесконечного мира внезапно гаснет; а то роскошное дыхание земли останавливается» (четыре повтора [2. Т. I. С. 129]);

7. Девичья грудь в легком спазме (два повтора [2. Т. I. С. 129, 131]).

Ряды этих симметрически расположенных повторов образуют ряд concentрических кругов: внешнего [2. Т. I. С. 121, 133] и внутренних [2. Т. I. С. 122—133], делают новеллу о Фатиме в композиционном отношении выразительной многокольцевой композицией.

Динамика повторов определяет ритмико-мелодическую картину эпического события в целом и в отдельных сегментах, а звучание ритмических повторов становится ведущим конструктивным принципом в реализации повторяющихся мотивов — основного и вспомогательных. Все эти многочисленные повторы развивают текст новеллы по синтагматической оси и характерны для символической прозы.

- Эту ритмическую игру повторов сопровождает ряд обогащающих ее контрастов:
1. Османачичи — Хамзичи [2. Т. I. С. 121; 125];
 2. Хутора Вели-Луг — Незуке [2. Т. I. С. 121; 124];
 3. Отцовское да — нет Фатимы [2. Т. I. С. 129—130] (с рядом повторов этого контраста);
 4. «Упоение красотой ночи» — приступы кашля у больного отца [2. Т. I. С. 129];
 5. Инстинкт смерти — упоение красотой [2. Т. I. С. 128—129];
 6. «Праздные мещане» с нездоровым любопытством, особенно развитым у людей, чья жизнь опустошена, лишена красоты [2. Т. I. С. 132—133] — Фатима, устремленная вверх, где «все свободно, бесконечно, безмянно и беззвучно» [2. Т. I. С. 128—129].

Из этого заколдованного круга повторов и контрастов, творящих многокольцевую композицию новеллы Андрича, равно как и метаморфозы синтагмы «легкое дыхание» в бунинской новелле исследователь может выйти, выделив стилеобразующие поэтические элементы и приемы, дав их единую интерпретацию.

Анализ этих двух новелл обнаруживает, что ритмические повторы и контрасты являются составными элементами двух развернутых метафор. Сложные процессы метафоризации и у Андрича и у Бунина становятся особыми приемами превращения стилистических средств, связанных с реализацией основного мотива, в «героя сюжета» (см. [17. С. 15; 18. С. 143]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шкроб З. О интерпретацији//Уметност ријечи. Бр. 2. Загреб, 1976.
2. Андрич И. Собрана дела 1—XVII. Београд, 1981.
3. Кириллова О. Л. Между мифом и игрой. О поэтике Иво Андрича. М., 1972.
4. По Э. А. Филозофија композиције//Уметност тумачења поезије. 1979.
5. Бунин И. А. Собрание сочинений в 6 т. М., 1988. Т. 5.
6. Выготский А. С. Психология искусства. М., 1968.
7. Jakobson R. Two Aspects of Language and Two Types Aphasic Disturbances//Fundamentals Language R. Jacobson & Moriss Halle. The Hague, 1956. P. 55—82.
8. Энгельгардт Б. М. Формальный метод в истории литературы. Л., 1927.
9. Блок А. Записные книжки Ал. Блока. М., 1930.
10. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 277, 261.
11. Еткинд Е. Г. Композиција поеме Александра Блока «Дванаесторица»//Уметност тумачења поезије/Прир. Д. Недельковић, М. Радовић. Београд, 1978. С. 573.
12. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972.
13. Потебня А. А. Мысль и язык//Эстетика и поэтика. М., 1976.
14. Лосев А. Ф. Символ и соседние с ним структурно-семантические категории//Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
15. Живковић Д. Символизам//Југословенски књижевни лексикон. Нови Сад, 1971.
16. Мукаржовски Ј. Структура, функција, знак, вредност. Београд, 1987.
17. Якобсон Р. Повећшая русская поэзия. Прага, 1921.
18. Hansen-Loeve A. Der Russische formalismus. Wien, 1976.



МАТЕРИАЛЫ РОССИЙСКОГО КОНСУЛЬСТВА В СЛИВЕНЕ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ БОЛГАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ в 30-е годы XIX века

Дипломатические документы имеют важное значение для изучения стран и народов. Среди них особое место занимают материалы иностранных консульств, находившихся в данной стране. Ведь донесения консулов подробно передают обстановку в стране пребывания, быт и нравы его народа. Что касается истории болгарских земель до конца 30-х годов прошлого столетия, то исследователи такими материалами не располагали, так как открытие иностранных консульств в собственно болгарских землях стало постоянным явлением лишь с этого времени. Исключение составляло российское консульство в Сливене, открытое в 1830 г. по многочисленным просьбам болгарского населения после окончания русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Но на протяжении длительного времени — более 150 лет — его материалы не были известны исследователям, как и история его учреждения и деятельность первого российского консула в болгарских землях Герасима Васильевича Ващенко. В литературе о существовании этого консульства были только упоминания [1—11], причем оценки деятельности Ващенко были противоречивыми. Так, Г. Раковский, а вслед за ним и М. Арнаудов дают отрицательную оценку как личности, так и деятельности российского консула [1. С. 122—126; 4. С. 137]. Несколько подробнее писал о сливенском консульстве С. Табаков. Он отмечал, что по окончании русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Россия прислала в Сливен своего консула для защиты болгарского населения от мести турок. При этом он отдавал должное деятельности Ващенко, признавая, что тот сумел защитить болгар. А после его отъезда над ними начались расправы. Однако болгарский историк полагал, что никаких других дипломатических поручений российский консул не имел и поэтому считал бесполезным искать в архивах его донесения [3. С. 166—168].

Но когда в 1984 г. нам удалось обнаружить материалы сливенского консульства в Архиве внешней политики России, мы увидели, что предположение С. Табакова было неверным, — столь разнообразны по своему содержанию довольно многочисленные документы. Это инструкции российскому консулу об образе действий, его подробные и регулярные донесения командующему русской армией на Балканах И. Дибичу, посланникам в Константинополе А. И. Рибопьеру и А. П.

Бутеневу, его записки и обзоры состояния болгарских земель. Эти материалы свидетельствуют о том, что первый российский консул, назначенный в Сливен как главный город тех районов, которые были театром военных действий в недавно закончившейся войне, Герасим Васильевич Ващенко, имел при своем назначении четкие инструкции, предписывающие ему в качестве основной задачи осуществлять контроль за выполнением статей Адрианопольского мирного договора и, в первую очередь, статьи 13 (о праве болгар, принимавших участие в военных действиях на стороне русских войск, эмигрировать в любую страну, выбранную ими по собственному желанию), а также наблюдать за делами, сообщать о хозяйственном развитии и торговле, о настроениях жителей, действиях правительства, появлении заразных болезней и т. п. Основная часть материалов отложилась в фонде «Посольство в Константинополе», другие документы составляют специальное дело под названием «Об учреждении российского консульства в Сливене». Большинство документов — подлинники, написаны по-французски и по-русски. Обнаруженные документы дополняют и расширяют наше представление о болгарских землях в конце 20-х — начале 30-х годов XIX в. Они позволили по-новому взглянуть на освещение некоторых фактов болгарской истории в литературе, а также объективно оценить деятельность Г. В. Ващенко на его посту консула в Сливене.

На базе обнаруженных документов нами уже были опубликованы статья и документы, посвященные главной задаче, ради выполнения которой был направлен в Сливен российский консул — покровительство болгарскому населению этих областей, защита его от турок. Изучение материалов, касающихся массовой эмиграции болгар после окончания войны и достигшей кульминации весной — летом 1830 г., позволило нам сделать вывод о том, что это эмиграционное движение было вызвано не действиями русского правительства, как принято считать в литературе, а стихийным побуждением масс к бегству из опасения жестоких репрессий со стороны турок. Русское же правительство не только не являлось организатором этой эмиграции, но исходя из своих экономических и политических интересов, сдержанно относилось к ней и принимало меры, чтобы остановить ее [12].

Но материалы консульства не исчерпываются этой проблемой. За неполные четыре года своего пребывания в Сливене Ващенко собрал ценную информацию о болгарских землях, входивших в Силистрийский и Видинский санджаки Османской империи: статистические и демографические данные, сведения о социально-экономическом и политическом положении болгарского народа, о его национально-освободительной борьбе. В данной статье мы попытались очертить круг основных проблем, которые можно рассматривать, опираясь на обнаруженные нами документы.

Вопрос, который прежде всего выявляется из материалов сливенского консульства, — это экономическое состояние края после только что прошедшей разорительной войны. Это исторический срез на 1830 г. Но не только. Необходимо отметить, что, перечисляя опустошенные районы и разоренные отрасли хозяйства, разорванные экономические связи, Ващенко вместе с тем сообщает ценные сведения по экономике до и после 1830 г., ибо постоянно сравнивает собранную информацию с тем, что производилось в том или ином округе до войны, показывает социально-экономическую специфику каждого из округов [13. 1830. Д. 813. Л. 60—62].

Записки и донесения консула позволяют не только определить степень разорения края, но и показывают условия жизни болгарского населения в тот период, содержат сведения о некоторых переменах в его социально-экономическом положении, которые явились результатом мер, принятых султанским правительством по улучшению положения христиан в тех чрезвычайных обстоятельствах, чтобы остановить массовый отток болгар из Османской империи и вернуть уехавших, ведь без наличия рабочих рук нельзя было поднять хозяйство и

восстановить порядок, который бы обеспечивал функционирование хозяйственного организма.

Консульские материалы фиксируют как новые положительные моменты в политике правительства по отношению к немусульманскому населению, явившейся дальнейшим развитием реформ, начавшихся в конце 20-х годов XIX в., так и отрицательные, среди которых были непоследовательность проводимой политики и противодействие местных турецких властей распоряжением центральной администрации. Из документов видно, в каких трудных условиях пришлось болгарам этих областей восстанавливать разрушенное хозяйство. Главная трудность по-прежнему состояла в угнетении христианских подданных Порты. В донесениях Г. В. Ващенко содержатся сведения о тех формах притеснения, которым они подвергались. Среди них особого внимания заслуживают жалобы и требования болгар. Они позволяют увидеть положение болгарского населения его собственными глазами, лучше понять причины и направление реформаторской деятельности султанского правительства в те годы. Эти материалы дополняют наши сведения об устройстве болгарского общества. Из ряда документов явствует, какие налоги платили жители многих городов и деревень и перечень наиболее частых злоупотреблений. В документах отражены и те уступки, на которые пошла Порта в тех условиях.

Читая эти материалы, легко заметить, что большинство причин недовольства связано с невыполнением местными властями законов и распоряжений центрального правительства, противоправными поборами, самоуправством аянов, воевод, кадий. Консул в своих донесениях приводит многочисленные примеры притеснений болгар турками, которые старались отыграться на них за свои страхи и потери в войне. Враждебность турецкого населения, помимо противостояния местных властей, зачастую проявлялась и в открытой форме — угрозы, избиений и даже убийств христиан [13. 1830. Д. 813. Л. 36—36об., 13. 1832. Д. 818. Л. 23 об.]. Эта ситуация усугублялась в моменты, когда какие-либо внешние факторы давали туркам надежду на возвращение старых порядков. Так было во время мятежа шкодринского паши весной 1831 г. [13. 1831. Д. 817. Л. 37] и восстания египетского паши Мухаммеда Али [13. 1833. Д. 819. Л. 12]. Много жалоб и обращений к консулу вызывали налоги. Вопрос о взимании налогов обострился в условиях крайней нищеты этих районов после войны. Султанское правительство, не желая мириться с потерей доходов с Силистрийского санджака, бывшего до войны «житницей Османской империи» [13. 1830. Д. 813. Л. 36об.], часто вопреки своим же постановлениям и обещаниям послаблений в пользу райи, продолжало взимать «такие налоги, что не только христиане, но даже турки говорят, что больше не могут терпеть» [13. 1830. Д. 813. Л. 75об.]. При этом турки старались переложить большую часть налогового бремени на болгар [13. 1830. Д. 813. Л. 66]. Показательно, что со всеми своими невзгодами болгары шли к российскому консулу, видя в нем своего защитника. В соответствии с предписанием «не вмешиваться во внутренние дела» [14. 1829—1831. Д. 1. Л. 18], Ващенко должен был соблюдать осторожность. Однако документы свидетельствуют, что он занимал активную позицию в деле защиты болгарского населения. Консул не только давал советы обиженным обращаться за помощью к высшей турецкой администрации, но и сам сообщал рушукскому паше и его каймакаму о нарушениях местными властями постановлений султанского правительства в отношении христиан. Так, по его представлению верховный правитель Силистрии Гасан-бей наказал и сместил аянов ряда городов за злоупотребления против болгар [13. 1830. Д. 813. Л. 65—66]. Он поддерживал жалобы болгарского населения и в делах, касающихся распределения налогов между турецким и болгарским населением [13. 1832. Д. 818. Л. 23]. Деятельность Ващенко вызывала недовольство турок. Заступался он и за болгар-бедняков в их жалобах на богатых болгар (нотаблей, как их называет в своих донесениях Ващенко). В делах сливенского консульства отложились материалы о национально-освободительной борьбе болгарского народа в описываемый период. Они ярко

свидетельствуют, что в болгарях не ослабевало стремление к освобождению от ненавистного османского ига. Таковыми являются материалы расследования, проведенного русским командованием в Бухаресте весной 1830 г., а также о восстании в ряде пограничных с Сербией нациях в 1833 г. В качестве основной причины Ващенко называет варварское отношение турок к христианам, которое довело последних до восстания [13. 1831. Д. 817. Л. 16—17, 20—53; 13. 1833. Д. 820. Л. 52об.—53].

Донесения российского консула не ограничивались констатацией разорения хозяйства и тяжелого положения болгар. Значительное место в них занимает описание позитивных факторов и намечавшихся процессов. К числу последних относится начавшееся в сентябре 1830 г. возвращение эмигрировавших болгар. В своих донесениях консул постоянно указывал число вернувшихся и места их расселения. Конечно, установить точную цифру всех вернувшихся на основании этих данных невозможно, но они позволяют проследить тенденцию. Донесения Г. В. Ващенко показывают намечившуюся положительную динамику дальнейшего развития болгарских земель, входивших в Силистрийский санджак. Однако, как отмечал консул уже в 1833 г., «эти области не оправились полностью от той нищеты, в которой они оказались во время заключения мира» [13. 1833. Д. 820, Л. 23]. Заслуживают внимания исследователей подробные отчеты Ващенко о ярмарке в Сливене, проходившей ежегодно в мае месяце, деятельность которой является важным показателем экономического состояния болгарских земель. Эти материалы отражают не только постепенное оживление экономической жизни этих областей после русско-турецкой войны 1828—1829 гг., но и торговые связи болгарских земель, а также особенности конъюнктуры османского рынка в указанный период [13. 1830. Д. 813. Л. 61—62].

Необычайно ценным нам кажется статистический обзор, составленный консулом в 1833 г. Он дает довольно целостное представление о демографическом и экономическом состоянии Силистрийского и Видинского санджаков. Насколько нам известно, документа, дающего информацию подобного рода в столь полном объеме, относящуюся к 30-м годам XIX в., в исторической литературе нет [13. 1833. Д. 820. Л. 36—40].

Большое внимание в своих донесениях Ващенко уделял развитию основного занятия жителей Сливена, Котела и прилегающих к ним сел — абаджийства (сукноделия), которое приобрело большое значение в связи с ростом потребности новой реорганизованной турецкой армии в сукне и стимулировалось государственными заказами. Консульские рапорты о ходе выполнения этих заказов содержат чрезвычайно ценную информацию, отражающую процесс первоначального накопления капитала и те социальные процессы, которые происходили в болгарском обществе в связи с развитием этого производства. Большой спрос на сукно способствовал обогащению болгарской верхушки, сращиванию ее с турецким чиновничьим аппаратом, ускорению социального расслоения болгарского общества. Местные болгарские старейшины совместно с аяном, воеводой (здесь — «надзирателем торговых сборов») и кадий (судьей) Сливена путем подкупов и обмана сделались монопольными поставщиками шерсти, необходимой для производства сукна и ковров, и установили настоящий диктат в сбыте готовой продукции, вынуждая простых ремесленников покупать шерсть по ценам гораздо выше установленных казной, а продавать — по ценам гораздо ниже установленных, что поставило в крайне тяжелое положение бедняков (как турок, так и болгар) и вызвало их многочисленные жалобы российскому консулу и рушукскому паше [13. 1832. Д. 818. Л. 48об.]. Заступничество Ващенко за обиженных стоило ему отъезда из Сливена. Рушукским пашой было назначено по жалобе расследование, в результате которого были ограничены права местной турецкой власти. Но болгары-старейшины, интересы которых также были задеты действиями консула, направили жалобу на консула сераскеру (главе военного ведомства). Богатые болгары — поставщики абы — обвинили Ващенко в том, что по его внушению «болгары не хотят давать в казну сукна... и сопротивляются этому

мятежным способом» [13. 1833. Д. 820. Л. 45]. Таким образом, документы проливают свет и на вопрос о причине отъезда Ващенко из Сливена. Г. В. Ващенко покинул Сливен в начале декабря 1833 г. Последнее его донесение датировано 9 (21) декабря 1833 г.

Материалы российского консульства в Сливене, отложившиеся в Архиве внешней политики России (АВПР), имеют большое значение для исследователей, так как отражают сложные условия жизни болгарского народа, те изменения, которые происходили в этот период как в болгарском обществе, так и в Османской империи в целом. Ценность такого комплекта материалов повышается тем, что этот период еще слабо изучен в исторической науке в силу слабого обеспечения источниками. Вводимые в оборот документы значительно пополняют и дополняют источниковую базу, расширяя наше представление о положении болгарских земель и жизнедеятельности болгарского этнического элемента в составе Османской империи в 30-е годы XIX в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Раковски Георги С. Горски пътник. Нови Сад, 1857.
2. Иречек К. История болгар. Одесса, 1878.
3. Табаков С. История на град Сливен. София, 1924. Т. 2.
4. Арнаудов М. Селимински. Живот—дело—идеи (1799—1867). София, 1938.
5. Конобеев В. Д. Национально-освободительное движение в Болгарии в 1828—1829 гг.//Ученые записки Института славяноведения. М.; Л., 1960. Т. 20.
6. Шеремет В. И. Турция и Адрианополюский мир 1829 г. М., 1975.
7. Кристанов Ц., Маслев С., Пенаков И. Доктор Иван Селимински като учител, лекар и общественик. София, 1962.
8. Велики К. Емигрирането на българите от Сливен във Влахия през 1830 година//Страници от миналото на българския народ. София, 1987.
9. Матвеева М. Чуждите консульства в българските земи прези Освобождението//Международни отношения, 1976. № 1.
10. Матвеева М. Консулските отношения на България 1879—1988. София, 1988.
11. Стошлова Т. Първи опит за откриване на руското консулство в българските земи//Военноисторически сборник. 1983. № 2.
12. Медведева О. В. Российская дипломатия и эмиграция болгарского населения в 1830-е годы//Советское славяноведение, 1988. № 4; Медведева О. Проблемът за българската емиграция в Русия през 1830 г. в дейността на руската дипломатия//Известия на държавните архиви. София, 1989. Кн. 57.
13. АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе.
14. АВПРИ. Ф. Главный архив. IV—2. 1829—1831.



© 1995 г. СМИРНОВ Л. И.

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВАЦКО-УКРАИНСКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В XIX ВЕКЕ

В рамках широкой проблематики развития межславянских культурных отношений в эпоху национального возрождения (конец XVIII в.— вторая половина XIX в.) большой интерес представляет изучение истории словацко-украинских культурных контактов.

В известной мере типологически сходные условия и задачи борьбы словаков и украинцев за свое национально-культурное возрождение, естественно, породили потребность в контактах и сотрудничестве словацких и украинских «будителей», способствовали усилению и углублению взаимного интереса к духовной культуре, литературе и родственным языкам. Значительное внимание вопросам развития словацко-украинских культурных связей уделялось в 20—30-х годах XX в., ср., в частности, работы Ф. Заплетала, Й. Махалы, А. Колессы, К. Студинского и др. [1]. В последующий период интерес к данной проблематике несколько ослабел, хотя время от времени публиковались отдельные статьи, освещающие контакты между деятелями словацкого и украинского национального движения [2]. В последние годы наблюдается оживление интереса к этим вопросам, ср., например, статью Н. Неврли «Первый этап украинского и словацкого национального возрождения в прошлом столетии» [3], в которой в сопоставительном плане рассматривается деятельность словацкого просветителя А. Бернолака и известного украинского писателя И. П. Котляревского.

Как нам представляется, есть еще немало возможностей для дальнейшего изучения истории словацко-украинских культурных связей в прошлом веке. Базой такого изучения могут стать еще недостаточно исследованные источники, например, переписка украинских и словацких культурных деятелей (в этом плане, в частности, еще слабо использована опубликованная в 1905 и 1909 гг. переписка Я. Головацкого [4], забытые или совсем неизвестные литературные и публицистические произведения того времени, архивные и рукописные материалы и т. п.

В середине XIX в. на кульминационном этапе развития словацкого национально-возрожденческого движения придавалось большое значение укреплению межславянских культурных и научных связей, что проявлялось в разнообразных формах: переписка, обмен книгами и научными публикациями, прямые личные контакты, переводы с одного славянского языка на другой и т. п. В этот период заметно активизировались и словацко-украинские культурные связи. Так, один из лидеров словацкого национального движения — видный политик и обществен-

Смирнов Лев Никандрович — д-р филол. наук, зав. отделом Института славяноведения и балканистики РАН.

ный деятель, кодификатор литературного словацкого языка, публицист, поэт и редактор — Людовит Штур проявлял живой и глубокий интерес к украинской культуре и литературе, особенно к поэзии, к думам и народным песням. В своем сочинении «О народных повестях и песнях славянских племен» он отмечал, что «казачество имеет свои чудесные думы...» [5], делал интересные наблюдения о сходстве словацких, украинских и сербских народных песен, анализировал украинские песни. Данный труд Штура в свою очередь вызвал интерес на Украине и был переведен Б. Дедицким на украинский язык (уже в 1855 г. в «Семейной библиотеке» была начата публикация этого перевода). Многие сторонники и последователи Штура (А. Сладкович, С. Халупка, Я. Калинчак, Я. Франци-ци-Римавский, Я. Штур, С. Б. Гробонь и др.) также проявляли глубокий интерес к литературе и народному творчеству украинцев. Немало свидетельств этого находим в статье Р. Бртаня [6]. Штуровцы записывали украинский фольклор, разучивали народные украинские песни со своими учениками. Поэт С. Халупка по текстам и на мелодии украинских песен сочинял стихи на чешском и словацком языках. Я. Францици-Римавский в рецензии на эпические произведения А. Сладковича призывал отказаться от классического гекзаметра и предлагал изучать «неоценимые украинские думы, героические сербские песни и наши словацкие простонародные баллады» [6. S. 30]. Поэты штуровской школы публиковали переводы с украинского языка на словацкий и чешский языки. Украинские мотивы заметны и в оригинальных стихах словацких поэтов (Я. Краля, Я. Ботто). Как замечает Р. Бртань, тон стихов Я. Краля «во многом близок украинским думам и коломыйкам» [6. S. 35].

С другой стороны, в украинских песнях, изданных М. Лучкаем, Я. Головацким и другими, можно обнаружить отзвуки словацкой и чешской поэзии, следы влияния словацкого и чешского фольклора [7]. На литературную деятельность ряда украинских писателей, в частности, М. Шашкевича, Я. Головацкого, И. Вагилевича несомненное влияние оказывали словацкие и чешские будители (Я. Коллар, П. Й. Шафарик и др.).

Л. Штур активно пропагандировал такой способ установления непосредственных контактов, как поездки по славянским землям и странам. Он сам путешествовал по Чехии и Лужице. В результате таких поездок публиковались своеобразные очерки, в которых рассказывалось о культуре и быте того или иного славянского народа. Штур считал, что все это дает возможность лучше узнать друг друга и установить братские отношения, как замечал он в письме лужицкой молодежи [8].

В 1843 г. подобную поездку по Закарпатья, которое входило тогда в состав венгерской части Австрийской империи, совершил Богуш Носак (псевдоним — Незабудов) (1818—1877) — словацкий евангелический священник, поэт, переводчик, один из соратников Штура, редактировавший вместе с ним первую газету на словацком языке «Словенске народни новини» (Slovenskje národnje novini. V Prešporoku, 1845—1848). По мнению И. Седлака, это было сделано по инициативе Штура [9]. В 1845 г. в литературном приложении к этой газете «Орел татранский» (Orol Tatránski) были опубликованы «Письма из неизвестной земли к Л...» [10], автором которых был Б. Носак. Эти письма, в сущности, представляли собой его заметки о путешествии по Закарпатья, интересно написанные очерки, которые знакомили словацкую культурную общественность с бытом и нравами, языком и культурой закарпатских украинцев (русинов).

Эта малоизвестная публикация и сейчас имеет определенную ценность как источник сведений о жизни русинов (закарпатских украинцев) в середине прошлого века. Автор дает красочные описания природы Закарпатья, знакомит читателя с достопримечательностями Ужгорода, Мукачева, Хуста и других городов и деревень, передает впечатления непосредственного наблюдателя о национальных костюмах, о некоторых обычаях и нравах русинов, о их народном языке, о котором он, в частности, пишет: «их милый и чистый говор очаровывает человека» [11. S. 77]. Следует подчеркнуть, что в письмах Носака отражаются гумани-

стические и демократические взгляды автора, его глубокое уважение к национальному своеобразию каждого славянского народа и в то же время понимание важности и общественно-культурной значимости идей славянской взаимности. О закарпатских украинцах он пишет с неподдельной теплотой и симпатией. Вот только один пример: «Передо мной в тени Карпат дремал Ужгород... И в сердце моем отозвалось: О, если бы этот час был часом твоего возрождения, дорогой, честный, но неизвестный народ русинский!» [11. S. 77].

В аспекте истории межславянских культурных связей особый интерес представляют рассказы Носака о его встречах с культурными и церковными деятелями, игравшими заметную роль в национально-культурном возрождении закарпатских украинцев.

В этом отношении примечательны прежде всего встречи и беседы Носака с видным деятелем закарпатского возрождения М. Лучкаем (1789—1843), автором ряда филологических и исторических работ, в том числе: *Grammatica Slavico-Ruthena* (1830), рукописного труда *Historia carpatho-ruthenorum* и мукачевско-ужгородским епископом В. Поповичем (1796—1864).

Носак познакомился с Лучкаем на последнем году его жизни. Это был старец с серебристыми волосами. Носак пишет: «Лучкай очень милый человек. Сама приветливость и человечность» [11. S. 78]. И далее: «Он провел меня в свою боковую комнату, где занимался литературными трудами. Как раз в то время он писал на латинском языке историю Мукачевской епархии» [11. S. 78]. Носак спросил у него, почему он не пишет по-русински, на что Лучкай ответил, что труд пишется для ученых, а для этого наиболее пригоден латинский язык. Носак продолжает: «Я попытался его убедить, что его история нашла бы больше покупателей и имела бы большее влияние, если бы была написана на русинском языке, потому что она была бы первой на этом наречии и таким образом чем-то новым и привлекательным» [11. S. 78]. Далее читаем: «Он со всем этим согласился, но я не знаю, издаст ли он свою историю по-русински, так как много уже было написано» [11. S. 78]. Трудно сказать с полной определенностью о каком сочинении Лучкай идет речь в данном случае. Маловероятно, что это была часть известного труда Лучкай «История карпатских русинов» (написанного на латинском языке и лишь относительно недавно опубликованного с параллельным переводом на украинский язык [12]). Вероятнее всего это был специальный отдельный труд, посвященный истории Мукачевской епархии.

Лучкай предоставил Носаку возможность познакомиться со своей библиотекой, в которой были и произведения классиков на латинском и итальянском языках. В связи с этим Носак попутно замечает, что Лучкай говорит по-итальянски, как по-русински. Лучкай ознакомил гостя с подготовленным собранием народных русинских песен. Однако несмотря на настоятельные просьбы Носака, он все же не дал ему ни одной песни, сказав, что собирается их издать. Другой любопытный штрих: Лучкай занимался переводом элегий Овидия на русинский язык. Он дал Носаку образец (четыре строки) этого перевода:

«Už vo mnje starina, mečesja ¹⁾ sidina ²⁾,
Už smorčki ³⁾ starosti, počali mi rosti,
Už živost i sila zahibat' ⁴⁾ iz t'ila ⁵⁾
Čtož mladu ljubilo teper ⁶⁾ už nemilo» [11. S. 79]

В сноске Носак поясняет отдельные украинские слова, приводя их словацкие соответствия: 1) Мекá, 2) Šedina, 3) Vráski, 4) Odchádza, 5) Telo, 6) Teraz.

Носак отмечает и такой существенный момент: Лучкай был очень рад приезду словака к русинам, считая, что это даст им возможность взаимного знакомства. В связи с этим, он рассказывает Носаку случай из своей жизни, который

свидетельствует о том, что ученый славянин может легко понимать каждое славянское наречие.

Описывая посещение В. Поповича, Носак характеризует его как русинского и славянского патриота и замечает: «Лучшего епископа русинский народ в Венгрии не мог обрести» [11. S. 79]. Известно, что Попович имел личные и письменные контакты со славянскими будителями (с Я. Колларом и др.). Носак был поражен его образованностью и широтой интересов. В его библиотеке он к своей большой радости увидел «почти все самые лучшие труды славянских ученых», в том числе книги П. Й. Шафарика, Я. Коллара, Й. Юнгмана, а также Д. Обрадовича, Вука Караджича, А. Мицкевича и А. С. Пушкина. «Такую прекрасную библиотеку,— замечает Носак,— я не ожидал увидеть у русинского священника, которых нам описывали как людей грубых и необразованных. Здесь я лично и должным образом убедился в обратном» [11. S. 79]. Как оказалось, Попович был неплохо осведомлен и о ситуации в словацкой духовной культуре. В беседе с Носаком он подчеркнул: «Я рад, что словацкая литература набирает силу, у нее будет прекрасное будущее» [11. S. 79]. А когда речь зашла о словацкой газете, Попович выразил свою радость, узнав, что словаки добиваются разрешения на издание «органа общественной жизни», и заметил, что газета окажет благотворное воздействие на словацкое общество, если она будет выходить на словацком языке [11. S. 79]. Таким образом, он поддержал стремление штуровцев издавать газету на родном языке словаков.

В плане словацко-украинских связей любопытен следующий факт, который, правда, не упоминается в письмах Носака. Дело в том, что до своего назначения на пост мукачевско-ужгородского епископа Попович был каноником в Прешове. Там в то время активно действовало словацкое студенческое общество. Заместитель председателя этого общества Й. Срна написал и опубликовал в Левоче в 1838 г. стихотворение в честь посвящения Поповича в сан мукачевско-ужгородского епископа.

В последнем, седьмом, письме Носак, прощаясь с Закарпатьем (Угорской Русью), дает краткий очерк истории русинов. При этом, как он сам отмечает, опорой ему служили данные Лучкая и «источники пана Я. Головацкого» [11. S. 140]. Здесь неясно, о каких источниках идет речь. Вполне вероятно, что Носаку была известна серия статей Головацкого, опубликованная в журнале, редактируемом П. Й. Шафариком (Cestou po halické a uherské Rusi//Casopis Českého museum. Praha, 1841—1842).

В сноске в последнем письме Носак заключает: «Жаль, что об этом племени и о его родине мы знаем так мало. Угорская Русь есть действительная „terra incognita“» [11. S. 140]. Письма — очерки о путешествии по Закарпатью Б. Носака способствовали распространению в среде словаков знаний о жизни, культуре и языке родственного славянского народа. А само его путешествие и публикация писем в «Орле татранском» являются ярким свидетельством практического осуществления словацко-украинских культурных связей в середине XIX в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. См.: *Zapletal F.* Rusíni a naši buditelé. Praha, 1921; *Máchal J.* Podkarpatští Rusové a slovanské obrození//Slovanský sborník věnovaný Fr. Pastrnkovi k 70. narozeninám. Praha, 1923; *Kolessa A.* Vztáhy Čechů a Slováků k Ukrajinčům//Co daly naše země Evropě a lidstvu. Praha, 1940; *Студинський К. П. Й. Шафарик і Українці. Прага, 1935.*
2. См., например: *Molnár M.* Štúrovci a Zakarpatská Ukrajina//Ľudovít Štúr. 1815—1856. Bratislava, 1956; *Rott A.* O kultúrnych stykoch Čechov a Slovákov so zakarpatskými Ukrajinčami//Z dejín československo-ukrajinských zt'ahov. Slovanské štúdie I. Bratislava, 1957; *Hostička V.* Pavel Josef Šafařík a Ukrajinci//Z dejín československo-ukrajinských vz'tahov. Slovanské štúdie I. Bratislava, 1957; *Панькевич І.* Західноукраїнське відродження і Ян Коллар//З історії чехословацко-українських зв'язків.
3. *Неврли М.* Перший етап українського та словацького національного відродження в минулому столітті//Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. 14. В Пряшеві, 1986.

4. Кoresпонденция Якова Головацького. Т. I—III. У Львові, 1905—1909.
5. *Štúr Ľ.* Dielo. Zv. 2. Bratislava, 1986.
6. *Brtň R.* Štúrovci a ruská literatúra//Slovensko-slovanské literárne vzťahy a kontakty. Bratislava, 1979.
7. *Kolessa A.* Vztáhy Čechů a Slováků k Ukrajincům//Co daly naše země Evropě a lidstvu. Praha, 1940. S. 281.
8. *Listy Ľudovíta Štúra.* III. Dodatky. Bratislava, 1960. S. 21.
9. *Sedlák J.* Strieborný vek. Národno-kultúrny a literárny pohyb na východnom Slovensku v období národného obrodzenia. II. Košice, 1970. S. 226.
10. *Nosák B.* Listů z neznámé země k L.//Orol Tatránski. V. Prešporoku, 1845—1846. Čís. 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18.
11. *Orol Tatránski.* Reedicia. Bratislava, 1956.
12. *Сак Ю.* «Historia carpatho-ruthenorum» Михайла Лучкая (1789—1843)//Науковий збірник Музею української культури у Свиднику Пряшев, 1986. Т. 13, 14.



МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Сегакова О.А.

Церковнославянско-русские паронимы

трѣвѣющій - 1: нуждающийся, нищий: **Нижѣ сожмѣши рѣкѣ твоѣѣ предъ братомѣ твоимъ трѣвѣющимъ** (*Втор. 15,7*); **и трѣвѣющыа исцѣлѣнѣа цѣлѣше** (*Лк. 9,11*); **Не ѡрецыса бл҃готворити трѣвѣющемѹ, егда имать рѣка твоѣа помогати исцѣлѣнѣа подаванте всѣмъ трѣвѣющимъ** (*Требник*). 2: использующий, χρῶμενος: **и трѣвѣющїи мїра сегѡ, ѣкѡ не трѣвѣюще** (*1 Кор. 7,31*).

трѣпетный - потрясенный (и в физическом, и в душевном смысле), устрешенный: **и трѣпетна бысть землѣа** - *И земля заколебалась* (*Пс. 17,8*); (Жены мироносицы) **радостны бывше и трепетны, оужасъ во видѣша** (*О., гл. 5, Нег. утр. К.Воскр.*).

трѣпетнѡ - со страхом, ἐν τρόμῳ.

трѣдѣтиса (трѣждѣса) - 1: страдать, мучиться (*см. трѣдѣ, 1*): **Хотѣа трѣдѣлса еси спсе мой, и волею вжадалса еси...** - *Хотя и страдал Ты, Спаситель мой, и по воле Своей возжаждал...* (*К.Препол. (Крит)*); 2: подвизаться, копїѡш: **Подалъ еси сердце твоѣе еже развѣтити и трѣдѣтиса предъ гдемъ бгомъ твоимъ** (*Дан. 10,11*); **Цѣлѣйте ... персїдѣ възлюбленнѡю, ѣже много трѣдѣса ѡ гдѣѣ** (*Рим. 16,12*); 3: трудиться, усердно работать, копїѡш **Настѣвниче, ѡбѣ ношь всю трѣждшеся, ничесѡже ѣхомъ** - *Учитель, всю ночь трудясь, мы ничего не поймали* (*Лк. 5,5*).

трѣдѣ - 1: мучение, горе, скорбь, κόπος: **и послѣа мѡисѣи послѣзи ... глагола: тѣи вѣси весь трѣдѣ ѡверѣтши насъ** (*Чис. 20,14*); **Вїждѣа смїренїе моѣе, и трѣдѣа мой, и ѡстаѣи всѣ грѣхї моѣи** (*Пс. 24,19*); **ѣкѡ приложи гдѣа трѣдѣа къ болѣзни моѣи** (κόπων ἐπὶ νόσου) (*Иер. 45,3*); **Не имать во ѡ землїи изыти трѣдѣа, ни ѡ горъ прозѣвнѣти болѣзнь** - *но человекъ раждается на трѣдѣа* (*Иов 5, 6-7*); 2: болѣзнь, νόσος: **Человекъ нѣкїи, имъи водный трѣдѣа** (*Лк. 14,2*); **Мы вемѣнихомъ егѡ вѣити въ трѣдѣа, и въ ѣзвѣ ѡ бга, и во ѡз-**

Продолжение. Начало см. *Славяноведение. 1992. № 5 - 1994 № 3*

лѡвѣнїи - Мы полагаали, что он в болезнях, и ранах от Бога и в унижении (Веч. Вел. Пт); 3: усилие, труд, подвиг, κόπος (отсюда **трьдникъ** - подвижник): **Кїиждо же свою мзду прїметъ по своему труду** (1 Кор. 3, 8); **Ваше дѣло вѣры и трудъ любви и терпѣнїе оупованїа** (1 Фес. 3,8); 4: (часто во множ. числе **трьды**) - добытое трудом, плод работы, κόπος: **Да взыщеть занмодавецъ всѧ, елика сътъ егѡ,**

и да восхїтатч чуждїи трьды егѡ (Пс. 108, 12); **и ни трьдишася, и въ втрьдъ ихъ внидоште** (Ин. 4,38); 5: беспокойство: **Не твори мнѣ трьды, оуже двѣри затворены сътъ, и дѣти моѧ со мною на лѡжи сътъ** (Лк. 11,7) ♦ **творїти трьды** κόπους παρέξω - то же, что **трьдѧти**.

трьдѧти (трьдѧю) - смущать, беспокоить, κόπους παρέξω: **Что трьдѧете женѣ** (Мф. 26,10) .

трьсъ - землетрясение, шторм, σεισμος: **и сѣ трьсъ великъ бысть въ мѡри** (Мф. 8,24); **Мертвиї ѧкѡ въ трьсѣ вси встанѣтъ** (Окт., гл. 2, Пт. веч. стих. мертв); **Ѡ глѧда и трьса ...** (Ект).

тцанїе - 1: поспешность, быстрота, σπουδή: **Воставши же марїамъ во дни тѡѧ, ѧде въ гѡрнаѧ со тцанїемъ, во градъ їдѡвъ** (Лк. 1,39); 2: усердие, внимание, σπουδή: **и снѣсте є со тцанїемъ: пасха єсть гдѧ** (Исх. 12,11); 3: тщета, напрасные старания, μόξθος: **исчезоша въ сѣтѣ дни ихъ и лѣта ихъ со тцанїемъ** (Пс. 77,33).

тцинтися (тциѡса) - 1: торопиться (см. **тцанїе**, 1): **ѧдемъ, потцимся ѧкоже волсви и поклонїмся** (К.Пасхи); 2: стараться (см. **тцанїе**, 2); **Тцихомся лицѣ ваше видѣти многимъ желанїемъ** (1 Фес. 2,17).

тѣснота - тоска, тревога: **Скорѣь и тѣснота на всѧкѣ души члѡвѣка творѧщагѡ злое** (Рим. 2,9).

таготѧ - 1: должность, важность, ὄγκος: **Могѣще въ таготѣ быти, ѧкоже хртѡвы апл: но вѣхомъ тиши посредѣ васъ** - Мы могли бы быть важными, как Апостолы Христовы, но были скромны среди вас (1 Сол. 2,7); Ср. противоп. **гѡрдостъ** - тягость, бремя (ὄγκος): **Толїкъ имѣще ѡблежашь насъ ѡблакъ свидѣтелей гѡрдостъ всѧкѣ ѡложше...** - Имея такое облако свидетелей, окружившее нас, сложив с себя всякое бремя (Евр. 12,1); бремя, βѧρος: **Другъ друга таготѣ носїтте и такѡ исполните законъ хртѡвъ** (Гал. 6,2).

тѧжко - с трудом, βαρέως: **Оушїма тѧжкѡ слышаша** (Мф. 13,5).

тѣло - 1: истукан, образ (идола), εἰκόνα: **Пѧдающе поклонѧйтеся тѣлѡ златѡмѡ єже постави навѡходоносоръ царь** (Дан. 3,5); 2: тело, плоть (человека, животных): **Светїальникъ тѣлѡ єсть ѡко** (Мф. 6,23); **Тѧкожде и воскрїе мертвѣхъ... сѣтсѧ тѣло дѡшевное, востаѣтъ тѣло дѡхѡвное. єсть тѣло (σѡμα) дѡшевное, и єсть тѣло дѡхѡвное** (1 Кор. 15, 42-44);); 3: небесное тело, σѡμα: **и тѣлеса небеснаѧ и тѣлеса земнаѧ... ѧна слава солнцѣ, и ѧна слава лѡнѣ** (1 Кор. 15,40). ♦ **тѣло гдѧне** - Св. приношение, σѡμα: **Судъ сѣѣ гѧтъ и**

пѣтъ не разсѣждѣмъ тѣла гдѣня (1 Кор. 11,29) ♦ **ТѢЛО ХРІТВО** - Церковь, община: **Въ дѣло сдѣженіа въ созданіе тѣла хрѣтова** (Еф. 4,12); **По дѣйствѣ въ мѣрѣ едѣныа коелѣждо части, возвращеніе тѣла творитъ въ созданіе самого себе любовію** (Еф. 4,16).

оу - уже ♦ **НЕ оу** - еще не: **Не оу прїиде часъ мой** (Ин. 2,4).

оублажити (оублажѣ), оублажати (оублажаю) - 1: принести благо, сделать благим (счастливым), благоволить, μακαρίζω: **оублажи гдѣн блгволеніемъ твоимъ сїюна** (Пс. 50,20); **оублажи гдѣн блгѣа, ѣ правѣа сѣрдцѣмъ** (Пс. 124,4); **Не восхотѣ разумѣти ѣже оублажити** (Пс. 35,4); 2: восхвалять, прославить благость, μακαρίζω: **ѣ благословѣтса всѣа квѣна земнааа, всѣа ѣзыцы оублажатъ ѣго** (Пс. 71,17); **Сѣ во ѡнынѣ оублажатъ ма всѣа родн** (Лк., 1,48).

оубогѣи - бедный, нищій, πτωχός: **Нѣкѣю вдовицѣ оубогѣ вметѣющѣ тѣ двѣ лептѣ** (Лк. 21,3); **Расточи даде оуеогимъ** (2 Кор. 9,9); **Страсти ради нищихъ ѣ въздыханіа оуеогихъ** (Пс. 11,6).

оубожеество - бедность: **Никтѣ да не плачетъ своегѣ оубожеества, ѣвнѣса во ѡвщеѣ црствѣ** (Сл. Злат.)

оуверенный (оуверенѣ быти) - вверенный, πιστευθηναί: **ѣкѣ оуверено ми бысть блгвѣстїе нешерѣзаніа** - Ибо мне вверено благовествовать язычникам (Галат. 2,7); **ѣже мнѣ оуверено бысть** (1 Тим. 1,11).

оуверѣати (оуверѣаю) - удостоверить, сообщать веру, утверждать в вере: **Сокровенное таинство, ѣ ѣгломъ неведомое, гавриилъ оуверѣетъ архѣггѣ** - В сокровенную, и ангеламъ неизвестную тайну утверждает веру архангел Гавриил (КАПБ); **ѡвщеѣ воскресеніе прѣжде твоеѣ страсти оуверѣаа из мѣртвѣхъ въздвїгѣ ѣси лазара...** - Утверждая веру в общее воскресение прѣжде Твоего [смертного] страдания, Ты поднял из мертвых Лазаря (Троп. на вход Господень).

оуверѣатиса (оуверѣаюса) - получать веру, утверждаться в вере: **Тварѣ же оуверѣетса ѣплы проповѣдающими востаніе** - Творение получает веру через апостолов, проповедующих Воскресение (О., гл. 8, Нег. Утр, К., п. 7, Крестобог).

оувадати (оувадаю), оувадити - обессилить: **Веществонагѣ ѡгна пламень неवेशествонагѣмъ оуваднша бгѣзрїмїи ѡтроцы** - Пламя материального огня [силой] нематериального [огня] лишили силы Богохранимые отроки (О., гл. 3, п. 8).

оугнуѣтати (оугнуѣтаю) - теснить, сжимать, συνθλιβω: **Вїднши народъ оугнуѣтающѣ тѣа, ѣ гѣгѣлешн: ктѣ прикоснѣса мнѣ** (Мр. 5,31).

оугѣдѣ - попечение, забота, πρόνοια: **ѣ плѣти оугѣдѣа не творїте въ похѣти** - И попечения о плоти не превращайте в похоть (Рим. 13,14).

оугѣдный - 1: удобный, пригодный: **Ширѣкъ пѣтъ здѣ ѣ оугѣдный сласти творїти** - Широк здесь путь и удобен, чтобы предаваться наслаждениям

(КИП); 2: приятный, χάρις: Фистъ же хотѣ оубодное ѿдѣемъ сотворити (Деян. 225,9).

оугрызѣнїе - укус, δῆμα: Тлетворивагѡ ѿбавленїе ѿ ѡдѡвїтагѡ оугрызѣнїа - Спасенїе от смертоносного и ядовитого укуса (К. Воздв. (Маюм).

оудивїтї (оудивлю) - прославить, сделать дивным, θαυμάστου: ѿ оубѣдїтте, ѡкѡ оудивї гдѣ прїбнаго своегѡ (Пс. 4,4); ѿ оудивїтъ гдѣ ѡзвы твоѡ, ѿ ѡзвы стѣмене твоегѡ (Втор. 28,59); Оудивї мїлости своѡ - Показал дивную милость Свою (Пс. 16,7).

оудивїтїса (оудивлюса), **оудивлѣтїса** (оудивлѣюса) - 1: почтить, уважить, θαυμάζειν: оудивїшасѡ ѣмѣ ѡггласка вѡннства (К. Возн. (Ин.Д.); ѡзвыкъ безстѡденъ лицѣмъ, ѿже не оудивїтсѡ лицѣ старчѣ ѿ юна не помнїдетъ (Втор. 28,50); 2: делаться чудным, прославляться: Оудивїсѡ рѡзѡмъ твоѡ ѡ менѣ оутвердїсѡ, не возмогѣ къ немѣ (Пс. 138,6); ѿсповѣмсѡ тебѣ, ѡкѡ страшнѡ оудивїлсѡ ѣсї чѣдна дѣла твоѡ ѿ дѡшѡ моѡ знѣетъ зѣлѡ (Пс. 138,16); ѡкѡ хртѡсъ ѡвнїсѡ воплощѣемъ... ѿ оудивлѣтсѡ чѣдесѣ въ самарїю прїшѣдъ - Ибо Христос явился во плоти... и прославляется чудесами, прїдя в Самарїю (Нег. Самар., Самогл).

оудѡбнїй - легкий, простой: Прїидї, подавалї оудѡбнѣ стезїю (КРГ, II).

оудѡбнѡ, **оудѡбѣ** - легко, без труда: Премѡдрѡсть оудѡбнѡ вїдїтсѡ ѡ любѡщїхъ ю (Прем.6,12); Что ѣсть оудѡбѣ рецїи: ѡставлѡютъ ти сѡ грѣсї твої: ѿлї рѣцїи: востанї ѿ ходї (Лк. 5,23). Гордѡсть всѡкѣ ѡлѡжше ѿ оудѡбѣ ѡвѡстѡтѣлнїй грѣхъ... - Отказавшись от всякого бремени и легко обступѡющѡго (нас) грѣха (Евр. 12,1).

оудѡврѣнїе - украшение (см. дѡбрїй, дѡбрѡта): Рѡдѡсѡ ѡплѡвѣ оудѡврѣнїе (КАПБ); Мрїю дѣѡ, безплѡтнїхъ пѣснь, ѿ вѣрнїхъ оудѡврѣнїе (О., гл. 1, Сб, Вел. веч., Богор); ѡдрѣе ѡческѡ похвалѡ... крїтѣ оудѡврѣнїе (ВК., Ст., п. 4).

оудѡврїтї (оудѡврїю) - украсить, Дцѣрїи ѿхъ оудѡврѣнї, прѣдкѡрѡшенї ѡкѡ подѡбїе хрѡма (Пс. 143,12).

оудѡлннїй - долинный, от оудѡлѣ, юдѡлѣ долина: Чїстѣїшїї крїнѣ ѿ оудѡлннї цвѣтѣ, ѡ вѡмтї - Чїстѣїшѡя лїлїя и цвѣток долин, о Матерѣ Божїя¹ (Мин. окт.26, К., п. 6).

оужаснїй - 1: испуганный, изумленный (см. оужасъ): Оужаснї нѡвїмъ свѣтолїтѣмъ вnezапѡ оучїнїцы ѡсвѣщїсѡсѡ - Изумлены ученики, внезапно озаренные новым светом (К. Пр. Г (Маюм.)); 2: чудный, изумляющий: Пѡстырїе свїрѡюще оужасно свѣтѡвлѣнїе полѡчнїша - Пастухи, играюще на свїрели, увидели чудное явление света (К. Рожд).

оужасно - 1: в изумлении, в страхе, ѣв ѣкотѡсѣи: Слѡвнїи ѡплї оужаснѡ прїкасѡхѡсѡ рѡкамї (КУПБ (К.М.)); 2: славно, чудно: Бгѣ во оутрѡбѣ твоѣї воплотїсѡ, безстѡрѡстнѡ ѿ оужаснѡ (О., гл.8, Сб. повеч., КМПБ,6).

¹ О Богоматери

оўжасть - 1: восторг, страх, изумление, ἔκστασις: ἤμας же ἡχὴ τρέπεται ἰ
оўжасть - Их охватил страх и восторг² (Мк. 16,8); 2: слава: Тамо веніамінъ
іонѣйшій во оўжасть, кнѣзи іудови владѣки ѡхъ (Пс. 67,28).

оўкорітн (оўкоріо), **оўкорѣти** (оўкорѣю) - 1% пренебречь, презирать,
ἀτιμάζειν: Сѣи ѣсть камень оўкорѣный ѡ васъ зиждѡщихъ³ (Деян. 4,11).

оўкрасітн (оўкрасѣ) - веселить, утешать, τέρπειν: ἡσχύды оўтра ἰ
оўкрасіши (Пс. 64,9).

оўкрасѣние - устройство, убранство, κόσμος, ornatus (лат.), zeba (евр): ἰ
совершішася небо ἰ земля ἰ все оўкрасѣнїе ѡхъ (Быт. 2,1): 2: оскорблять: ἰ
дѣа блгодѣти оўкорівыи (Евр. 10,25); Оўкорѣми, блгословѣмъ (1 Кор. 4,12).

оўмнлѣнїе - печаль, сокрушение, κατάνοξις: Напоиѣъ ѣси насъ вѣномъ
оўмнлѣнїа (Пс. 59,5); Дѣде ѡмъ бѣъ дѣхъ оўмнлѣнїа, ѡчи не видѣтн, ἰ оуши
не слышатн (Рим. 11,8); Плачь преложн на радѡсть, ἰ оўмнлѣнїе въ веселїе (О.,
гл.5, повеч. К.Маюм., п.9).

оўмнлїтн (оўмнлїю) - сжалиться, пожалеть (см. мнїлїй): ѡкъ блдннїца
припадаю ти, члвѣколюбче... молитвами прѣтчи ѡкъ ѡмѣ оўмнлї, млїтве, ἰ
спасї мѣ (О. гл. 7, Вт утр. сег.).

оўмнлїтнса (оўмнлїюса) - 1: сокрушиться, раскаяться: Гнѣвайтеса, ἰ не
согрешѣйте, ѡже глаголете въ сердцахъ вѣшихъ, на ложахъ вѣшихъ
оўмнлїтеса (Пс. 4,5); ѡкъ да воспѡетъ тебѣ слава мол, ἰ не оўмнлїоса (Пс.
29,13). 2: пожалеть, соболезновать: Сльшавше же оўмнлїшася сѣрдцемъ
(Деян. 2,37).

оўмнѣ - духовно, в духе, **снн. неведѣствовеннѣ**: Да оўмнїю ἰ ѡзъ зѣнїцы
сѣрдца ἰ вїждѣ тѣ оўмнѣ свѣта превѣчна - Чтобы и я, омыв зеницы сердца,
увидел Тебя в духе, вечный Свет (ВК, чт.п. 5).

оўмнїй - 1: духовный, умопостигаемый, понимаемый в духовном,
образном смысле (**снн. словѣснїй, неведѣствовеннїй, мысленнїй**),
νοητός: Тебѣ оўмнїю, вѣце, пѣць размотрѣмъ вѣрнїи - Мы, верующие, видим
в Тебе, Богородица, как бы образ печи (авилонской) (О., гл. 1, К. Воскр., п. 7);
Мѣра оўмнѣ блгвѣнїа притекающнхъкъ вамъ ἰсполнїте - Наполните тех,
кто прибегает к вам, миррой духовного благовония; ♦ **оўмнїа ѡвцы**,
оўмнїе стадо и под. - паства; ♦ **оўмнїа ѡчи**, **оўмнїе зрѣнїе** - духовное
зрение (**снн. ѡчи сѣрдца**) ♦ **оўмнїе дѣланїе** - духовный труд, созерцание;
♦ **оўмнїа молитва** - моление духом, без слов (термин аскетике); 2:
духовный в противопоставлении чувственному, материальному, бесплотный
(см. оўмъ, 2): ѡкъ ты... показѣъ ѣси емѣ свѣтъъ чѣвственнїй, да ἰ оўмнѣ
сподѡбнїтса свѣта... - И как Ты... открыл ему (новорожденному)
материальный свет, так пусть он удостоится и света духовного (Млв.

² τρόμος καὶ ἐκστασις

³ ὁ λίθος ὁ ἐξουθεκρηθεὶς

родил. в 40 день). ♦ ОУМНЫА (СНЛЫ, ЧИНЫ), ОУМНОЕ ВОИНСТВО, ОУМНЫЕ ЧИНОНАЧАЛІА - бесплотные силы, ангелы: ОУМНЫХЪ СТЕКАЕТСА ВОИНСТВЪ МНОЖЕСТВО СО ІУСИФѠМЪ И НИКОДИМОМЪ (У., Вел.Ст.); МНОЖЕСТВО ОУМНЫХЪ СЪЩЕСТВЪ НЕПРЕСТАННУ ПОЮТЪ ТѦ НЕДОМЫСЛИМАГО БГА (О., гл. 3, Нег. К.Троич., п.4); СПСИ, СПСИТЕЛЮ ТВАРИ, ЧВСТВЕННЫА ЖЕ И ОУМНЫА, РАБЫ ТВОѦ; 3: относящийся к оумѸ, разумному началу в человеке: ІИСЕ, ВЪСТРОТО ОУМНАА (КАИС).

ОУМОЛЧАТИ (ОУМОЛЧѸ), ОУМОЛКНѸТИ (ОУМОЛКНѸ) - 1: успокоиться, (см. МОЛЧАНІЕ), утихнуть, κοπάω: ЗЕМЛѦ ОУВОАСА И ОУМОЛЧА (Пс. 75,9); СЪДИ ДЩИ, ДОНДЕЖЕ ОУВѢСИ КАКЪ ПАДЕТЪ СЛОВО: НЕ ОУМОЛЧИТЪ БО МЪЖЪ, ДОНДЕЖЕ СОВЕРШИТСА СЛОВО ДНЕСЬ - Пойди, дочь, пока не узнаешь, чем кончится дело: ибо человек тот не успокоится, не закончив [этого] дела сегодня же (Руфь 3,18); 2: замолчать, φιμώω: И ЗАПРЕТИ ЕМЪ ІИСЪ, ГЛГОЛА: ОУМОЛЧИ, И ИЗЫДИ ИЗ НЕГѠ (Мк. 1,25).

ОУМЪ - 1: дух, духовное начало в человеке, разум, διανοία (в отличие от СМЫСЛА означает более общее, не только интеллектуально-познавательное начало): ОУМЪ И СМЫСЛЪ И СЛОВО, ДАРЪ ВЖІИ ПРІАХЪ (КАА); И ВОЗЛЮБИШИ ГДА БГА ТВОЕГО ВСЕМЪ СЕРДЦЕМЪ ТВОИМЪ, И ВСЕЮ ДУШЕЮ ТВОЕЮ, И ВСЕМЪ ОУМОМЪ ТВОИМЪ, И ВСЕЮ КРѢПОСТІЮ ТВОЕЮ (Мк. 12,30); 2: дух, бестелесное существо, ангел (обыкновенно во мн. ч.), νοῦς: СЛЫ НЕБНЫХЪ ОУМѠВЪ, БЕЗЪВРАЗНЫ И НЕВЕЩЕСТВЕННЫ ПѢВЦЫ - Воинства небесных духов, не имеющие образа, и бесплотные певцы (КАА); ГАВИСА ОУМОВЕ АПЛАМЪ ВЪ ВОЗНЕСЕНІИ И ВѢЩАХЪ - Явились Апостолам [во время] Вознесения [два] ангела и сказали... (К. Возн. Ис. П.); 3: разумение, способность понять, διανοία: ВОСПѢВАЮ И СЛАВЛЮ ТВОЮ, ЮЖЕ ПАЧЕ ОУМА И СЛОВА, КРАЙНІЮ БЛАГОСТЬ - Воспеваю и славлю Твою, превосходящую разумение и слово (т.е. возможность понять и выразить) высшую благодать (О., гл. 2, крестобогор).

ОУМѢНІЕ - разумение, ведение, ἐπιστήμη. См. ОУМѢТИ.

ОУМѢТИ (ОУМѢЮ) - ведать, разуметь (ср. НЕДОУМѢТИ), ἐπίσταμαι, γινώσκειν: Глаголетъ человекъ истинну зрѡи, слышай словеса вжѡа оумѡа оумѡнѡе вышнаго...- Говорит человек, воистину видящий, слышащий слова Божию, ведающий ведение Всевышнего (Числ. 24,16). ИЗ МАДА СЦЕННАА ПИСАНІА ОУМѡЕШИ (" Тим. 3,15).

ОУМѢТЕЛЬНЫЙ - ведающий, разумный, ἐπιστάμενος: СЕ ЛЮДЕ ПРЕМЪДРІИ И ОУМѢТЕЛЬНЫ, ІАЗЫКЪ ВЕЛІКІИ СЕИ (Исх. 4,6).

ОУПАСАТИ (ОУПАСАЮ), ОУПАСТИ (ОУПАСѸ) - пасти, ποιμαίνω: ТѦ ПАСТЫРА ВЕЛІКАГО... МОЛИМЪ НІКОЛАЕ: Ѡ ВЫСѠТЪ СЦЕННЫХЪ ОУПАСИ РАБЫ ТВОѦ - Тебя, великого пастыря, молим мы, Николай: со священных вершин паси рабов твоих (О., гл. 1, Чт., К.Ник., п. 9); ИЗ ТЕБЕ БО ИЗЫДЕТЪ ВОЖДЪ, ІЖЕ ОУПАСЕТЪ ЛЮДИ МОѦ (Мф. 2,6). И ОУПАСЕТЪ Ѧ ЖЕЗЛОМЪ ЖЕЛѢЗНЫМЪ (Откр. 2,27).

оуправити (оуправлю), **оуправлѣти** (оуправлѣю) - направить; оуправляюци призываюцим тѣ во искушѣнїихъ ко спасенїю, прѣтѣа - *Направляя тех, кто призывает Тебя в искушениях, к спасению (О., гл. 5, Вт., повеч., КПБ, п. 5).*

оуправленный - приспособленный, пригодный, εὐθετος: **Никтоже...** зрѣ вспѣть, оуправленъ ѣсть въ црѣвїи вѣїи (Лк. 9,62).

оупражнѣти (оупражнѣю), **оупразднѣти** (оупразднѣю) - 1: делать праздным, бесполезным, καταργεῖω: **Постѣцы ю оубо, вскѣю и зѣмлю оупражнѣтъ** (Лк. 13,8); 2: уничтожать: **Варварская нашествїа оупражнѣа и недѣги оупола...** (Мин., окт 26, стих. муч., гл. 4).

оупразднѣтисѣ (оупразднѣосѣ) - 1: стать праздным, освободиться: **Оупразднѣтисѣ и развѣмѣтее ѣкѡ ѣзъ ѣсмь вѣъ** (Пс. 45,11); **Прїдетъ же егда оупразднѣтисѣ** - *Придет, когда будет освобожден (! Кор. 16,12).* 2: уничтожиться: (Ag) **ѡгорчїсѣ ѣкѡ оупразднѣсѣ...** (Сл. 3л.).

оускорити (оускорю) - поспешить: и рече ѣй: **оускорї, и смѣсї три мѣры мѣкїи чїсты и сотвори потребнїки** - *И сказал ей: поспеши, намеси три меры чистой муки и сдѣлай пресные лепешки (Быт. 18,6); и даде тельца млада и добра и даде рабѣ и оускорї приготовити є* (Быт. 18,7).

оуспѣвати (оуспѣваю) - 1: помогать, способствовать, ὠφελέω: **Вїдѣвъ же плѣтъ, ѣкѡ ничтоже оуспѣваетъ, но паче молва бываетъ...** (Мф. 27,24); 2: иметь успех: **и всѣ елика ѣще творїтъ, оуспѣетъ** (Пс. 1,3); **Ничтоже оуспѣетъ врагъ на него** (Пс. 88,23).

оуставити (оуставлю) - оставить, пресечь, καταπαύσω: **Слово прїшедшее оуставити грѣхї** (КРГ, II).

оустранїтисѣ (оустранїосѣ) - отчуждаться, отпасть: **Оустранѣшегосѣ древле навѣтомъ човекоубїицы... пакн возвѣлъ єсї** - *Ты вновь возвратил ... того, кто по наущению човекоубийцы (сатаны) стал отчужден (от рая) (О., гл. 7, Нег., К.Воскр).*

оустыдїтисѣ (оустыждѣсѣ) - испугаться, убояться, ср. стыдїтїтисѣ: **Да не познаете лица въ судѣ, маломъ и великомъ судншї, и не оустыдїшасѣ лица члѣвѣческа, ѣкѡ судъ вѣїи єсть** (Втор. 1,17).

оутварь - 1: вещь, творение, κόσμος: **Въ черннѣю оутварь измѣнїсѣ солнце зрѣ на дрѣвѣ тее** (О., гл. 8, Пт. У., К.Кр., п. 3); 2: украшение, убранство, κόσμος: **и ѡлаша сїнове їсраїлевы оутварь свою, и рїзы ѡ горы хорїва** (Исх. 33,6); **и оукрасїхъ тѣа оутварїю, и возложїхъ заплѣтїе на рѣцѣ твої, и гривнѣ на вїю твою** (Иез. 16,11); **Преиспещрѣнъ, позлащѣнъ оутварь, тѣа имѣцѣ возлюбїи создателъ твої и гдѣ** - *Тебя, Дево, имеющую изукрашеное позолоченное убранство, возлюбил Твой Создатель и Господь (О., гл. 7, К.Крвоскр., п. 7); и сотворѣтъ всѣ...: скїнїю свидѣнїа, и кївотъ заветѣа и ѡчїстїлїще єже верхѣ егѡ, и оутварь скїнїи* (Исх. 31,7).

3: одежда: Да не бѣдетъ оутварь мъжеска на женѣ, ни да ѡблачитса мъжъ въ ризѣ женскѣ (Втор. 22,5).

оутвержденіе - охрана: Гдѣ есть платова кѣстѡдіа и ѡпасно оутвержденіе - Где же стража Пилатова и бдительная охрана (Стих. Веч. Нег. Мир).

оутолѣти (оутолю) - унять, παύω: Оутолі страстей моихъ свирѣпю волнѣ (О., гл. 4, Пт7, повеч., КПБ п. 6); **Зимѣ грѣховнѣю оутоливый цѣдрый** - Ты, милостивый, унял стужу греха (О., гл. 6, Пн. утр., К. Рожд. Хр. п. 8).

оутро (оутрѣ) - 1: заря, рассвет, πρωία: Оутрѣ же бывшѣ советъ сотвориша вси архіереѣ (Мф. 27,1); 2: следующий день, завтра, αὔριον: **Аще же сѣно сѣльное днесъ сѣще, и оутрѣ въ пѣць вметаемо...** (Мф. 6,30).

оутрѡба (оутрѡбы) - 1: внутренности, материнское чрево; отчасти соответствует совр. русскому *сердце* (**безѡтрѡбіе** - бессердечность) или *душа*. σπλάγχνα. Одинаково употребимо и ед. и мн. число: Оутрѡба же моѣ горитъ, зрѣши твоѣ распѣтїе (Отп. гл. 8); и оутрѡба егѡ излѣха къ вамъ есть И сердце его (Тита) весьма расположено к вам (II Кор. 7,15); **Прѣведникъ мѣаетъ души скотѡвъ своихъ: оутрѡбы же нечестивыхъ немилостивны** (Прит. 12,10); **Іакѡ ты создалъ еси оутрѡбы моѣ** (Пс. 138,13); В обобщенномъ значении - "тело", "плоть": **Іакѡ смириса въ персть душа наша, прильпѣ землѣ оутрѡба наша** (Пс. 43,26); 3: обобщенно - внутреннее, самое дорогое: **ѡблечитса оубо іакоже избраннїи ежїи свѣти и возлюбленни, во оутрѡбы цѣдрѡтъ** (Кол. 3,12); **Да ѡверзетъ и мнѣ оутрѡбы своѣѣ бл҃гости** (Мал. повеч.); **ѡверзи ми оутрѡбы человекѡлюбїѣ твоегѡ** (Млв. прич); **Избавленіе бл҃гоправнѣи ѡ спасительныхъ оутрѡвъ же и слѣзъ истѡчника** (Троп. Вел. Ср (Маюм)) ♦ **оутрѡбы милости** - то же, что **бл҃гоѡтрѡбіе**: **Бл҃же, за оутрѡбы мѣти, спаси градъ бѣдствѡющїи** (Мин. окт. 26, стих. самогл.)

оутрѣха - утешение, παράκλησις: и человекъ сѣи прѣведенъ и бл҃гочестивъ, чѣѡ оутрѣхи илевы (Лк. 2,25)..

оутрѣшителъ - утешитель, заступник, Параклит παράκλητης (именование Св. Духа): Оутрѣшителъ же, дхъ стѣи, егѡже пошлетъ ѡцъ во ѡма моѣ, той въи навчїтъ всемѣ (Ин. 14,26); **Црю небесный, оутрѣшителю, душе истинны...** (Млв).

оуцѣломѡдрити (оуцѣломѡдрю) - вразумить, сообщить благоразумие, σοφρονίζειν см. **цѣломѡдрїе**: **ѡ неѣ рожденное ѡтроча бл҃гословїи, возрасти ѡстїи, вразумїи, оуцѣломѡдри, оудѡбромѡдррствїи** (Млв. рог. 40 гень). **Да оуцѣломѡдрятъ юныѣ** (Тит. 2,4).

оучастїе - вклад, часть, вносимая во что-либо общее, приношение, ἀφάρεμα: **Всѣкъ ѡдѣлѣѡи оучастїе, сребро и мѣдь, принесѡша оучастїѣ гдѣ** - Каждый выделил часть серебра и меди, и принесли эти части Господу (Исх. 35,24).

⁴ ἐκ σπιτηρίων σπλάγχμων

о҃учини́ти (о҃учини́ю) - назначить место, поместить. *см.* ἰάκω γὰρ βῆς
о҃учинитъ дѣши ихъ нѣже праведнѣи о҃упокояются (Л. Зл.).

о҃учредити (о҃учреждѣ) - угостить, принять гостя, ξενίζω: Призвавъ же ихъ,
о҃учреди (Деян. 10,23).

о҃учредитиса (о҃учреждѣса) - угоститься, пировать: Днесь таинственнѣ да
о҃учредимса (К. Воздв. (Георг)).

о҃учреждѣнїе - 1: угощение, пир, δοχή: и сотвори о҃учреждѣнїе велѣ леви́и емѣ
въ домѣ своемъ (Лк. 5,29); 2: гостеприимство, ξενία, ξενισμός: и сотвори имъ
о҃учреждѣнїе, и гѣдоша (Быт. 19,3).

о҃уцѣдрити (о҃уцѣдрю) - помиловать, пожалеть (*см.* цѣдрити, цѣдрый),
οἰκτεῖρω: Иже нїневїтаны дрѣвалѣ покѣавшыася о҃уцѣдривъ, и менѣ Обычнымъ
милосѣрдїемъ помилѣи - Ты, пожалевший некогда раскаявшихся ниневитян,
помилуй и меня по Твоему неизменному милосердию (О., гл. 7, К.Ап., п. 6);
Нижѣ да бѣдетъ о҃уцѣдрѣи сироты егѣ - И пусть не будет таких, кто
пожалеет сирот его (Пс. 108,13); Бже о҃уцѣдри ны и благослови ны, просвѣти
лицѣ твоѣ на ны и помилѣи ны (Пс. 66,2).

о҃уазвѣити (о҃уазвлю) - 1: ранить, ужалить (о змее), *см.* гѣзва; 2: *перен.*
возбудить ревность: Любѣвию твоѣю о҃уазвѣи дѣши наша (Вас. Вел. Час).

о҃уаснити (о҃уаснїю) - 1: сделать светлым, просветить, зажечь свет: Тварь
о҃уаснивъ, человекѣи ѡбожи - Просветив творение, сдѣлал человека
причастным божеству (обожил) (КПБ (Маюм.)). О҃уаснивши свѣщыи наша
вѣрою - Зажигая наши светильники верой (Пс., троп. по 4 кафизме); Нынѣ
же сокровеннаа твоѣа бѣгомѣжнѣ о҃уаснилъ еси и сѣщимъ во адѣ (К. Вел. сб.);
Пѣсней красотѣю о҃уаснимъ настоѣщїи дѣнь и возгласимъ мѣнка подвиги Мин.
окт. 26, стих. самогл.); 2: (обыкновенно о языке) сделать внятным, выразить:
О҃уаснивъ гѣзыкѣ мой, пѣснь о҃устъ моихъ прїимъ; Бжѣа гора тѣчнаа, еѣже
прѣоцъ дѣдъ о҃уаснивъ дрѣвле поѣ прорѣчески... (Мин. окт. 14, К. Параскеве, п.
8).

хвала - 1: похвала, благодарение: Иъз о҃устъ младѣнец и сѣщихъ совершилъ
еси хвалѣ (Мф. 21,16); 2: похвальба, тщеславие, χάρις: Всяка хвала такова гла
ѣсть (Иак. 4,16).

хвалити (хвалю) - славить, благодарить, εὐχαριστέω: Хвалите ѣма гдѣне,
хвалите равнѣ гда (Пс. 134,1) ♦ на хвалитѣхъ термин литургики, указание
на то, что данная стихира поется на утрени после канона. К этим стихирам
присоединяются стихи из Пс. 150, начинающиеся словами хвалите: На
хвалитѣхъ стѣхїры на д, гласъ ѣ (Типик 27 июля).

хвалитиса (хваляюса) - 1: превозноситься, цениться: катаκαυψαι: и
хвалитса мїлостъ на сѣдъ - И милость [ценится] выше суда⁶ (Иак. 2,13); 2:

⁵ ποστικῶς εὐδοχηθῆμεν

хвалиться, гордиться (чем-либо), καυχῶμαι: **Мнѣ же да не вѣдетъ хвалитса** τόκμω ὡ κρεστѣ гда нашего ѿиса хрѣта (Гал. 6,14); **Хвалійса же ὡ гдѣ да хвалитса** (" Кор. 10,18; Иер. 9,24).

Хитрѣць - 1: создатель, творец, τεχνίτης, **всехитрѣць** - ἀρχιτεκτών: **иъ превѣственныхъ во нѣдрѣ хитрѣць** прошедъ хрѣтосъ - Ибо из божественного лона исшел Христос - **Создатель** (К. Ср. Г. (Маюм.); **Ни дѣломъ** внѣмлюще **познаша хитреца** - И рассматривая творения, не познали [их] **создателя** (Прем. 13,1); **и всехитрець словѣ** плоть **взаимодавшаа**, **мѣни** **ненскѣсомѣжнаа..** (Кан. Пт.);

2: художник, умелец, ремесленник, τεχνίτης: **и всакъ хитрѣць** **всакѣа хитрости** **не ѡбръщется** **ктомѣ** **въ тебѣ** - И больше не **найдется** в тебе (в городе) **никакого** **умельца** **ни** **в** **каком** **ремесле** (Откр. 18,22);

Хитрость - 1: мудрость, разум, ἐπιστήμη: (ср. **хѣдѡбожество**): **Таинница** **во** **ѣсть** **бжѣа** **хитрости** **и ѡбрътательница** **дѣлъ** **ѣгѡ** (Прем. 8,4); 2: искусство, мастерство, τέχνη: **и всакъ хитрѣць** **всакѣа хитрости** **не ѡбръщется** **ктомѣ** **въ тебѣ** (Откр. 18,22).

Хлѣвъ - водный поток: **Бѣзна** **бѣздноу** **призываетъ** **во** **гласѣ** **хлѣвѣи** **твоихъ** (Пс. 41,8); **Въ** **дѣнь** **той** **разверзѡшася** **всѣи** **истѡчницы** **бѣзды**, **и хлѣви** **небѣсныа** **ѡтверзѡшася** (Быт. 4,11).

Ходити (**хождѣ**) -1: ходить, идти, περιπατέω: **Ходите**, **дѡндеже** **свѣтъ** **имате**, **да** **тма** **васъ** **не** **иметъ**: **и ходи** **во** **тмѣ** **не** **вѣсть**, **каmw** **идетъ** (Ин. 12,35); 2: жить (проходить жизненный путь), περιπατέω: **Гдѣ** **не** **лиши** **тъ** **благихъ** **ходѣщихъ** **незлѡбѣемъ** (Пс. 83,12); **Азъ** **же** **незлѡбѣемъ** **моимъ** **ходи** **хъ**; **Блажени** **непорѡчни** **въ** **пѣть**, **ходѣщи** **въ** **закѡнѣ** **гдни** (Пс. 118,1); **и ходите** **въ** **любви**, **ѣкоже** **хрѣтосъ** **возлюбилъ** **ѣсть** **насъ** (Еф. 5,2).

Хождѣнїе - жизнь, образ жизни, см. **ходити**, 2, πορεία: **Сїце** **и** **богатый** **въ** **хождѣнїи** **своѣмъ** **оуважаетъ** (Иак. 1,11).

Окончание следует

Рубрику ведет А.Г.Кравецкий

⁶ Синод: милость превозносится над судом



«В. М. ДОКТОР ТУРОК»

Так мы к нему обращались, мы, близко его знавшие, в отличие от Коки Александровны, автора нижеследующих заметок, которая называла своего мужа и друга просто: «Турка»!

Профессор Турок, он же Попов, был уникальным явлением. И как ученый-историк, и как личность, индивидуальность. И потому, видно, привлекал к себе людей, очень разных по взглядам, убеждениям, партийно-идеологическим пристрастиям, по цвету кожи и национальности. В его обществе никто не смущался того, что он не родился русским, евреем или кем-нибудь еще. Это во-первых. А во-вторых, не смущала собеседника и его громадная эрудиция. Как равный с равными общались с ним и чувствовали себя люди, стоявшие ниже по знаниям, уму, жизненному опыту. Все эти личные качества и свойства характера сделали Турока бесспорным лидером «Аустро-Хунгаристики» в Советском Союзе, учителем и духовным пастырем всех, кто профессионально занимался историей и культурой Австрийской империи, Австро-Венгерской монархии, Австрии и Венгрии, средневропейского и балканского регионов в целом, в особенности представителей среднего и младшего поколений. Не знаю никого из тех, кто соприкасался с ним лично и не испытал на себе суггестивной силы этой обаятельной натуры. Учил он правде истории, уважению к факту, неприятию фальши, примитива, серости, схематизма, отвращению к национализму и шовинизму не только мягким внушением, ласковым словом, жестом одобрения либо укоризны, но и бесподобным юмором, едкой иронией, уничтожающим сарказмом. Острый ум и острый язык, разумеется, создавали ему дополнительные неудобства в жизни, осложнения в общении с начальством партийным, советским, профсоюзным и прежде всего с академической номенклатурой.

Сложившаяся в конце 1940-х и 1950-е годы в советской исторической науке ситуация, как и личность столь строптивого ученого, отнюдь не способствовали реализации громадных потенций Турока-исследователя. Поэтому о Туроке-историке, вопреки расхожему мнению, судить должно не только по книгам, количеству опубликованных трудов. По тем же причинам в течение длительного времени вплоть до середины 1960-х годов, он был лишен возможности выезжать за границу, куда уже доступ был открыт многим и не более достойным.

Первый выезд Турока «за кордон», в Будапешт, состоялся в начале мая 1964 г. Там проходила весьма представительная международная конференция на тему «Проблемы истории Австро-Венгерской монархии» с участием видных ученых-специалистов как Восточной Европы, так и Запада: Австрии, ФРГ, Франции,

Италии, США. Об этой важной конференции, сыгравшей поворотную роль как в исторической оценке монархии Габсбургов и ее роли, так и во взаимоотношениях историков Запада и Востока, Кока Александровна рассказала достаточно хорошо, однако у меня возникла потребность дополнить ее рассказ. Тем более, что из советских участников ныне в живых остался, кроме меня, только профессор Виноградов Кирилл Борисович.

После того, как академик Мирон Константинеску представил конференции обширный, хорошо оформленный внешне, по всем правилам науки коллективный доклад-брошюру румынской делегации (авторы: М. Константинеску, Л. Баньяи, В. Куртикеляну, С. Гёлльнер, Ц. Нутцу) «К национальному вопросу в Австро-Венгрии (1900—1918)», слово в прениях взял Турок. На первый взгляд могло показаться, что он импровизирует, он и на трибуну не поднялся, и в руках у него не было ни клочка бумаги, одни только черные, длинные, католические с крестом четки (тоже своеобразный вызов атеистическо-коммунистической публике, до отказа заполнившей Большой конференц-зал Венгерской академии).

Говорил он тихо, медленно, но четко, внятно, образно. И никакого экспромта. Это был глубоко продуманный, всесторонне взвешенный научный реферат, критический, с позиций марксизма-ленинизма, анализ изложенной в румынском докладе догматической концепции австро-венгерской истории, которая в своих методологических основах была по существу свойственна исторической науке всех соцстран, а частично также и западной. Так, он выразил несогласие с попытками рассматривать историю Австро-Венгерской монархии, представляющей, по его словам, «комплекс истории многих народов», «международный комплекс проблем», с позиций одной нации. Критикуя широко распространенный тезис о «нежизнеспособности» монархии, о ее обреченности на неизбежный распад, Турок указал на альтернативу «радикального внутреннего преобразования» Австро-Венгрии, на наличие интернациональных по характеру сил, способных эту альтернативу превратить в реальность. Игнорируя это существенное обстоятельство, указал он, румынские историки упор делают на национальный момент, национальную идею.

Эффект разорвавшейся бомбы произвел третий тезис Турока, опрокидывавший общепринятую тогда концепцию историографии стран Восточного блока, которая гласила: в результате Великой Октябрьской социалистической революции в России национально-освободительные движения угнетенных народов насквозь реакционной и насквозь прогнившей Австро-Венгерской монархии на ее развалинах образовали национальные государства. Турок позволил себе публично и гласно усомниться в этом, чего до него не делал никто, да и сегодня мои глубокоуважаемые коллеги отнюдь не горят желанием развивать идеи Турока. О создании «единого румынского национального государства» в 1918 г., сказал скромно Владимир Михайлович, «и речи не может быть», так как так называемые государства-наследники Австро-Венгрии были многонациональными.

Блистательное экспозе Турока произвело на всех нас (разумеется — минус румынская делегация) громадное впечатление, но мы, хорошо зная, в какой стране живем, отлично сознавали, какими последствиями грозит перерастание инцидента в открытый скандал для всей советской делегации, включая самого Турока. И дело вовсе не в том, как пишет Кока Александровна, что «Писарев был недоволен...» Да, Юрий Алексеевич, несший главную ответственность перед партийными инстанциями, был озабочен и встревожен до крайности. И он повел себя в этой сложной ситуации мужественно и достойно. Во время упоминаемого Кокой Александровной перерыва, на берегу Дуная состоялось краткое совещание делегации и было принято решение: солидаризуясь с выступлением, К. Б. Виноградову сказать в прениях несколько слов похвалы румынским авторам за собранный ими богатый фактический материал, тем самым предотвратив открытое столкновение. Впрочем, в целом такую же линию поведения избрали и коллеги с Запада. Историк из Триеста Лео Валиани, герой итальянского Сопrotивления, критиковал румынский доклад в умеренных тонах и осторожно. «Проф. Турок

прав,— сказал он,— и великая Румыния в 1918 г. образовалась благодаря победе в войне, а не путем демократического плебисцита» [1].

Завершая свои заметки, хотел бы коснуться еще одного обстоятельства, на первый взгляд парадоксального, но важного для понимания личности Турока. Гонимый в сталинскую и некоторое время в постсталинскую эпоху, фрондер и критически мыслящая личность в застойную эпоху Брежнева, Турок был все же порождением советской эпохи 1940—1960-х годов, той самой эпохи, которая наперекор всякой логике выдвинула плеяду блестящих ученых-историков, талантливых самородков, таких как Борис Александрович Романов, Борис Федорович Поршнеv, Альберт Захарович Манфред, Аркадий Самсонович Ерусалимский, Осип Львович Вайнштейн, Лев Владимирович Черепнин и др. Турок-Попов был одним из последних, если не последним, из этой гвардии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Die nationale Frage in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. 1900—1918. Budapest, 1966. S. 334.



© 1995 г. АНТОНОВА К. А.

В. М. ТУРОК

(к 90-летию со дня рождения)

Владимир Михайлович Турок-Попов (так в паспорте) родился в городе Царицыне 5 января 1904 г. по новому стилю. Отец его был купцом 2-й гильдии, торговал преимущественно лесом. Во время гражданской войны родители, захватив с собой пятнадцатилетнего Володю, эмигрировали в Константинополь, а оттуда переселились в Вену. В Венском университете Володя сблизился со студенческой группой Коштуфра (Komunistische Studentenfraktion). На этой почве у него происходили столкновения с отцом, и шестнадцатилетний студент, следуя коммунистическим принципам поведения, ушел из семьи и порвал с родителями. Он говорил, что его отец — купец, но умалчивал, что он — белоэмигрант. Когда его спрашивали, откуда он приехал, он отвечал: «Из Турции», почему получил кличку «Турок», которая пристала к нему на всю жизнь, став его псевдонимом и частью фамилии.

Члены группы Коштуфра жили в одном из студенческих барачков в Гринциге. Там обитали и австрийцы, но главным образом молодые люди из стран Восточной Европы, входивших еще недавно в Австро-Венгерскую империю, где установились преимущественно тиранические режимы. Австрия же оставалась островком демократического правления, и потому революционеры из окружающих стран стекались туда, продолжая свою деятельность в сравнительной безопасности. Кафе Вены были тогда своего рода политическими клубами. Заказав чашечку кофе можно было просидеть за столиком чуть ли не целый день, читая подшивки газет со всего мира, обмениваясь мнениями, писать статьи¹. Турок проводил там много времени, скоро научился разговаривать и (по учебникам) грамотно писать на основных языках Восточной Европы так, что люди различных национальностей принимали его за своего, считая его то «старым австрийцем», то румыном, то болгариним. У Турика было не столь часто встречающееся свойство: он не спешил высказывать свое мнение, предпочитая заинтересованно слушать других, поэтому его собеседники охотно изливали ему свою душу. Слушая людей и читая газеты на многих языках, Турок был лучше других информирован о событиях в Восточной Европе и через советского полпреда стал сотрудником Российского телеграфного агентства. Однажды Турок поссорился с полпредом и перестал к

Антонова Кока Александровна — д-р ист. наук.

¹ В ту тех времен он потом описал в статье «Мое знакомство с революционерами и царевубийцами» [1].

нему приходиться. В это время (июнь 1923 г.) в Болгарии произошел переворот. Москва нетерпеливо требовала от своего полпреда прояснить обстановку в Болгарии, а тот в болгарских делах не разбирался. Он с трудом разыскал Турока в каком-то венском кафе, и тот через день представил ему подробный доклад.

В Вене Турок завязал дружеские связи со многими деятелями коммунистического движения Австрии и Восточной Европы. Из венгров он почитал И. Реваи, терпеть не мог М. Ракоши; из югославов знал трех братьев Вуйовичей — Раду, Войю и Григора — их сестру Живку и ее мужа Хельми (Вильгельма) Либкнехта, сына Карла Либкнехта, многих немецких коммунистов; из поляков — А. Баралья, его друга С. Губера и других; из румын и бессарабцев — Спиру и Добрачаева, П. Ткаченко; из болгар — Георгия Димитрова, у которого Турок работал секретарем по Балканской федерации, Б. Стефанова и др. Турок дружил также с Ф. Фюрнбергом и И. Копленником, впоследствии лидерами австрийской компартии, а также с поэтом Гуго Гуаперттом.

Через несколько лет близкого знакомства с австрийской компартией, Турок и его старший друг Бараль решили пересечь в СССР, где правила, как им казалось, настоящая коммунистическая партия. Приехав в Москву, Турок подал заявление о переводе его в ВКП(б), как то делали все коммунисты-политэмигранты. В родной стране он решил ничего не скрывать и сообщил, что его отец не только купец, но и белоэмигрант. Поэтому комиссия по переводу в ВКП(б) тянула два года, прежде чем вынести решение: Турока в ВКП(б) не переводить, предложив вступить туда на общих основаниях. Однако за эти два года он сориентировался в обстановке и понял, что при его биографии членство в ВКП(б) может стать для него гибельным в прямом смысле слова, и предпочел остаться беспартийным.

Для нечлена партии участие в политической борьбе стало навсегда закрытым, и Турок перешел на научную работу, сначала референтом генерального секретаря Крестинтерна И. А. Теодоровича; когда же Крестинтерн распался, Турок стал научным сотрудником Международного аграрного института (МАИ) при Коминтерне в отделе Центральной и Восточной Европы. Поскольку для работы в МАИ нужно было знать иностранные языки, а советская «рабоче-крестьянская интеллигенция» владела ими плохо, то сотрудниками Международного аграрного были преимущественно политэмигранты. Турок не только поддерживал дружеские связи с теми, кого знал еще по Вене, но познакомился также со многими другими политэмигрантами: с венграми — Имре Надем и Эндрия Шиком, не влезавшими ни в какие эмигрантские склоки, уважал Евгения Варгу, знал братьев Фиала, отрицательно относился к Бела Куну, о котором говорили, что он повинен в смерти своего соратника Тибора Самуэли, но с симпатией к его жене Ирене, знал Антала Гидаша, Эмиля Мадараса и образованного, сведущего, но малосимпатичного Тибора Самуэли младшего; знаком был Турок и со всеми австрийцами, жившими в Москве; из югославов — с Вальтером (И. Б. Тито), Петровским (Хорватиным); с болгарами: Железовым (Апостоловым), Бахнсым; с немцами, поляками и со многими другими политэмигрантами. В МАИ мы и познакомились и прожили вместе затем 49 лет. Он был для меня всем: любимым и любящим мужем, лучшим другом, наставником. Он «вылепил» меня. В МАИ мы называли друг друга по фамилии, и он всю жизнь оставался для меня Турок или Турка.

В 1933 г. прошла партчистка. Мы не понимали, что она проводится для «изъятия из обращения» всех, кто когда-либо выступал против Сталина и верили, что она имеет целью освободиться от того, что мешает работе и строительству социализма. На чистке могли выступать все, но только 10 минут, и ведущий ее комбриг Камбалов по истечении их обрывал оратора даже на полуслове. Мы с Туроком записали заранее, выучили свой текст наизусть и выступили против некомпетентности дирекции в научных вопросах, халтуры, изъятия любых критических заметок из стенгазеты, воровства в институтской столовой и т. п. Уложились мы точно в назначенное время. Поскольку в МАИ работали главным

образом политэмигранты, защищать «своих» пришли видные коминтерновцы, например К. Доброджану Геря. Он обвинил Васи́ла Коларова и Бела Куна в том, что они расправляются со своими соперниками-политэмигрантами в Москве с помощью ГПУ. Так перед изумленными советскими сотрудниками института раскрылись закулисные интриги Коминтерна. После чистки, оставившей все руководство во главе института, нам с Туроком пришлось уйти. Моя мать была членом РСДРП(б) с 1904 г., мне удалось устроиться в Институт мирового хозяйства Комакадемии, а бедный Турок долго был безработным: тогда существовали секретные характеристики, которые руководство с прежней работы давало начальству того учреждения, в которое человек собирался поступать, и можно себе представить, как из дирекции МАИ аттестовали Турока.

Как многие другие старые коммунисты, моя мать была арестована 7 августа 1936 г., приговорена, как троцкистка, к пяти годам и послана в лагерь на Магадан, а в июне 1937 г. я была выслана в Омск как член семьи репрессированной. Турок решил добровольно ехать со мной, спасая меня тем самым от самоубийства. Друзья впоследствии прозвали его «женой декабриста». В Омске никого не оставляли, но капитан ГПУ Нелиппа, к которому Турок обратился по-венгерски, позволил нам месяц дожидаться наших книг, отправленных малой скоростью, а затем выбрать место ссылки — Тобольск, село Черлак близ Омска или окружной город Тару. Мы отправились в Тару (Тобольск был слишком переполнен ссылными). Работали мы плановиками в леспромхозе, маслопроме и т. д.

Разрешили мне вернуться в Москву в 1939 г., когда во главе НКВД стал Берия и было признано «переусердствование» в арестах. В результате кое-кого освободили из лагерей и вернули некоторых высланных родственников. Последних возвращали тремя последовательными волнами. Первым вернули их жилплощадь и восстановили на работе. Второй волне позволили вернуться в города, откуда они были высланы, но жилплощадь не возвращали. Третью освобождали от проживания в месте высылки, но с «минусом», т. е. с запретом проживания в некоторых крупных городах. Я попала во вторую волну. Вместо маминой конфискованной кооперативной квартиры НКВД обещал предоставить комнату, и Турок несколько месяцев чуть не ежедневно просиживал перед кабинетами НКВД, добиваясь ее. Мне удалось с трудом восстановиться в аспирантуре МГУ, и я писала кандидатскую диссертацию по истории Индии. Жили мы врозь, кочуя по знакомым и встречаясь в Исторической библиотеке. Забрать наши вещи со склада было некуда и зимой мы ужасно мерзли в летних пальто. Только через девять месяцев Турок добился хорошей комнаты в Голиковском переулке. Но вскоре выяснилась причина этой щедрости: после отбытия 3-летнего срока из лагеря вернулась полька, владелица этой комнаты и предъявила претензии на нее к нам, а не к НКВД. Мы ей сочувствовали, но деться нам было некуда и началась судебная тяжба за жилплощадь. В народном суде решили в ее пользу, в городском — в нашу.

Тем временем я получила аспирантскую стипендию, а Турок пристроился редактировать переводы воспоминаний Отто Бисмарка для серии книг по истории дипломатии. Позднее А. Я. Вышинский, в качестве директора Института права АН, решил издать на русском языке несколько переработанный «Дипломатический словарь» Штруппа. Для этого он собрал в редколлегии блестящее созвездие дипломатов и историков. Турок набрал для перевода ряд статей и, поскольку тогда издательства платили авансы, мы оказались в хорошем финансовом положении. Но тут началась война.

Мы уехали из Москвы в Ташкент. Здесь сначала нас обоих приняли в Институт истории, языка и литературы Узбекского филиала Академии наук, но потом директор института внимательно прочитал анкеты и нашел у Турока ужасный криминал: он жил за границей. Поэтому Туроку пришлось уйти «по собственному желанию», и он смог устроиться только преподавателем в Дипломатической школе, эвакуированной тогда в Фергану. Его лекции были распре-

делены «косяками», и Турок все время мотался между Ферганой и Ташкентом в ужасных условиях проезда во время войны. Так продолжалось до 1943 г., когда Дипшколу перевели в Куйбышев, и С. А. Лозовский телеграммой вызвал туда Турока. Однако новый набор студентов оказался скудным, часов на всех не хватало, и Турок уехал в Москву. Тут он решил поступить в аспирантуру Института истории АН. Это давало определенный социальный статус. К тому же Турок говорил: «Я буду заниматься тем же, чем занимался всю жизнь, только тогда это была текущая политика, а теперь эти же события уже история». Темой диссертации, под руководством Ф. О. Нотовича, он избрал Локарнскую конференцию 1925 г. Одновременно Турок занимался редактированием научных переводов для серии по истории дипломатии и по совместительству преподавал международникам сначала в Пединституте им. Ленина, а потом в Московском институте востоковедения. Преподавание он любил, читал лекции несколько монотонно, но основательно и нестандартно. К студентам он относился уважительно и с некоторыми из них сохранил дружеские отношения вплоть до своей смерти. Тем, кто плохо отвечал на зачетах, он говорил: «Уходите, Вы знаете на ни-бум-бум с плюсом».

В 1943 г. все институты АН возвратились из ташкентской эвакуации в Москву. К тому времени я стала докторантом Московской группы Ленинградского института востоковедения. Турок всегда вел наше домашнее хозяйство и освободил меня для докторантуры и научной работы.

В нашу комнату во время эвакуации вселилась ее бывшая владелица, которая предупредила нас, что нам опять тягаться с ней бесполезно: она — заведующая винно-водочным магазином, любого водкой зальет, а если мы откажемся от попытки завладеть комнатой, то она устроит нам временное жилье в Москве. В войну мы сильно недоедали, Турок стал вялым, у меня была постоянная субфебрильная температура. Мы были не в силах вести тяжбу и прежняя владелица устроила нас в комнате одной кооперативной квартиры, принадлежавшей инженеру, эвакуированному с заводом в Миасс. Он возвратился в 1944 г. и нам пришлось освободить площадь. Тут как раз к нам обратилась Вера, дочь нашего знакомого, венгра-политэмигранта Дьюла Шаша, жившего в Москве под фамилией Аквилла и умершего в лагере. Ее сестра Аги из форса записала себя в паспорте немкой и была выслана из Москвы. Нанятый Верой адвокат взялся вернуть Аги обратно, но потребовал большую сумму. Вера предложила продать нам одну из двух комнат, в которых сестры жили с матерью, с выплатой в рассрочку. Мы с радостью за это ухватились, но как туда прописаться? Тогда воспользовались тем, что мы с Туроком не расписывались (в 30-е годы среди партийцев и близких к ним это было не принято). Решили оформить брак Турока с Верой, а вскоре развод, и Турок женится на мне. Но тут неожиданно вышел новый закон о браке, развод мог решаться только по суду и был крайне затруднен. В суд таскаться не хотелось и этот фиктивный брак длился до 1947 г., когда Вера ждала ребенка от друга ее отца З. Липпая. Липпай не хотел, чтобы его ребенок был записан на Турока, и потребовал от Веры официального развода. Пройдя эти унижительные процедуры, Вера официально вышла за Липпая, а я за Турока.

Защитив кандидатскую, Турок стал младшим научным сотрудником Института истории, единственным беспартийным в секторе (Турок, смеясь, говорил: «Меня должны ценить, без меня нельзя провести открытое партийное собрание»). Он решил издать свою диссертацию о Локарнской конференции 1925 г. и заключил договор с Госполитиздатом. Издатским редактором ему назначили Я. З. Лифшица, человека пожилого, опытного, но привыкшего к газетно-канцелярскому языку и штампованному мышлению. Туроковский образный, ассоциативный язык, его сложные предложения и своеобразие речи казались Лифшицу недостатками, и он стремился всячески «обкатать» работу до среднего уровня. Кроме того, Лифшиц упорно вычеркивал Туроку все «сомнительные» фамилии и цитаты, требовал поменьше ссылок на буржуазную прессу и побольше на «Правду»,

«Известия» и учебник истории ВКП(б), хотя бы и не имеющих прямого отношения к сюжету. Поэтому все встречи Турока с редактором превращались в баталии, после которых Турок приходил домой без сил — ведь автор имел лишь совещательный голос. Под конец отчаявшийся Турок решился на беспрецедентный шаг: он расторг договор с Госполитиздатом, выплатил обратно аванс (причем аванс ему выдали с вычетом всех налогов, которые тогда достигали выше четверти всей суммы, а возвращать надо было по номиналу) и передал рукопись в Издательство АН, договорившись, что его редактором будет молодой историк В. Зуев, с уважением относившийся к Туроку и обещавший практически ничего не менять в тексте. Из-за этой операции мы влезли в долги, но когда книга вышла в 1949 г. [2], мы смогли расплатиться.

Для дальнейшей работы Турок избрал темой новейшую историю Австрии, но эта маленькая страна начальство тогда не интересовала, и ему разрешили заняться ею только после дачи обещания писать в разные сборники требуемые статьи по Германии. Работать Туроку было трудно: все материалы из-за границы, относящиеся к новейшему периоду, поступали тогда в спецхран, а получить туда допуск беспартийному Туроку было непросто. Никаких средств копирования в СССР не было, и все нужные материалы выписывали от руки. После Турока остались больше сотни больших тетрадей с выписками. В архивах дозволялось выписывать только в пронумерованную и пришитую тетрадь, которую потом цензурировало архивное начальство. Оно могло любую тетрадь не пропустить под предлогом секретности. Поэтому Турок проделывал двойную работу: важные для него цитаты выписывал в тетрадь (а вдруг пропустят), а также на маленьких листках, которые прятал в карман. Это нелегально вынесенные материалы он мог использовать только без кавычек и ссылки на источник. Несмотря на беспартийность Туроку все-таки, из-за его хорошего знания немецкого, поручили быстро просмотреть трофейный архив, попавший в Институт истории.

Всеми правдами и неправдами Турок доставал и нужные ему книги. Так, его студент, И. Шаталов, ему сообщил, что способный журналист А. М. Марков, бывший корреспондент в Вене, снял у отца Шаталова, имевшего двухэтажный деревянный дом в Измайлове, комнату на лето и у него лежит на столе нужная Туроку книга: «Процесс Гвидо Шмидта», которую Турок нигде не мог раздобыть. Турок тогда снял у отца Шаталова другую комнату, причем домовладелец запросил огромную плату, но мы согласились, так как платили не столько за комнату, сколько за «Гвидо Шмидта». Живя в том же доме, Турок познакомился с Марковым, который дал ему читать эту книгу и очень к нему привязался, посещая нас и впоследствии, вплоть до своей смерти.

Шаталов-сын подрабатывал тем, что скупал у вязальщиц изделия и потом продавая их в провинции. Он попался на этой «спекуляции» и на него стали «шить дело». Летом 1945 г. в «Комсомольской правде» появился фельетон А. Шатуновского, где, в частности, говорилось, что Шаталов поселил на лето преподавателя В. М. Турока у своего отца, за что Турок устроил его в аспирантуру. Потрясенный Турок поехал к Шатуновскому, доказывал, что платил за комнату очень дорого и был лишь одним из трех членов приемной комиссии в аспирантуру, председателем которой являлся уважаемый профессор, и что по своим знаниям Шаталов вполне подходил, но Шатуновского это не интересовало. Он отвечал лишь: «Газета опровержений не дает» (и действительно не давала). Так и ходил Турок незаслуженно опозоренным, пока о фельетоне не забыли. Шаталов же сумел оправдаться и работал долгие годы почитаемым преподавателем вуза.

Младшим научным сотрудником Института истории Турок пробыл 13 лет, с 1944 по 1957 гг. Тут сказались нелюбовь к Туроку всякого начальства: институтского, партийного и профсоюзного. Да и как было любить этого схидного, опытного и беспартийного «младшего», который всегда выступал против серости и штампов, против лодырей, бездарей и партийных горлопанов, причем так, что его трудно было «уличить» в каких-то «порочных» высказываниях. Вместе с тем Турок пользовался в институте влиянием, значительно превышавшим его статус

«младшего», и стремился поддерживать всех, кто готов был работать и мыслить. Так например, аспирант Ю. А. Писарев подготовил кандидатскую диссертацию по истории Сербохорватского королевства и вдруг (для нас, не вхожих в высшие сферы, буквально за ночь) Йосиф Броз Тито во всех средствах нашей массовой информации из вождя социалистической Югославии, верного коммуниста-ленинца, превратился в кровавого палача, агента империализма, фашиста, главаря «банды Тито». Писарев растерялся: как теперь защищать диссертацию по Югославии? Его руководитель, директор Института истории Б. Д. Греков был специалистом по русской истории, в югославской проблематике не разбирался и посоветовал защиту отложить, выбрав для диссертации другую тему. Для Писарева это означало катастрофу: срок его аспирантуры заканчивался, без защиты его не возьмут в штат научных сотрудников, и вся научная карьера шла насмарку. Он бросился к Туроку. Мы уезжали на курорт, имели на руках билеты, но Турок просидел всю ночь над его диссертацией, ободрил Писарева, внушил ему веру в правильность его работы, а потом они вместе продумывали отдельные формулировки и предисловие. Писарев свою диссертацию защитил, остался в институте и умер в 1993 г. академиком. Так же Турок старался поддерживать и других способных аспирантов, дружил с Володей Королюком, Сашей Кажданом, Тофиком Исламовым и всеми, кто работал, а не разглагольствовал «по партийной линии».

С начальством у Турока всегда были натянутые отношения, поскольку он не умел подхалимничать и иногда даже мог отпустить какую-то остроту по адресу дирекции института. Так, когда В. М. Хвостов, директор Института истории поехал с делегацией на какой-то симпозиум в Вену, он решил взять и Турока, в полной уверенности, что тот будет вертеться вокруг него, служа в качестве переводчика. Однако Турок, после стольких невыездных лет попав опять в Вену, сразу разыскал старых друзей, завел новых и отнюдь не собирался заниматься обслуживанием своего директора. В другой раз, когда Турок уже работал в Институте славяноведения, его тогдашний директор И. А. Хренов, не отличавшийся образованностью, отказался как-то расписаться в списке присутствовавших на том основании, что забыл очки у себя в кабинете. «А Вы крестик поставьте, — громко сказал Турок, — поймут кто».

До моей высылки в Сибирь мы с Туроком считали себя «беспартийными большевиками», т. е. принимали на веру все декларации «партии и правительства». Правда, уже в начале 30-х годов, когда на улицах Москвы появились толпы нищих крестьян в домотканых одеждах, лаптях и онучах, просивших милостыню, нередко с детьми на руках, мы с Туроком, используя терминологию Ленина, говорили между собой, что у нас социализм строится прусским путем. Лишь в Омске, при виде страданий толп не занимавшихся политикой людей, мы поняли, что о социализме вообще речи нет.

Отречься от вбитых в сознание правил поведения оказалось еще труднее, чем от политических догм, но постепенно приходило и это. После войны многие русские эмигранты стали возвращаться на родину. Если у вернувшегося не было громкого имени, как, например, у А. И. Куприна, то наше государство ничем, ни материально, ни в обеспечении жилья, возвратившимся не помогало и запрещало селиться в крупных городах. Часто реэмигранты, не привыкшие молчать, вообще оказывались в лагере. Когда Турока разыскали какие-то дальние родственники и сообщили, что его мать и отец живут в Париже, в стесненных условиях и подали заявление о возвращении в Россию. Мы с Туроком были в ужасе: надо было их удержать. Турок и я написали его родителям теплое письмо, в скрытой форме не рекомендуя возвращаться. Тут Турок понял, что его разрыв с семьей был не доблестным поступком истинного революционера, а привел к тому, что на старости лет его родители оказались одиноки. Потом, через тех же дальних родственников мы узнали, что наше письмо родители Турока получили и очень обрадовались через столько лет весточке от сына и его жены.

Однако вскоре отец Турока умер, а мать не решилась одна ехать в незнакомую даль. Так и прервалась эта одноразовая связь.

Как-то, не то в 1947 г., не то в 1948 г., сосед сообщил Туроку, что его вызывают по телсфону. У нас телефона не было, а телефоном соседа мы не пользовались и номер его никому не давали. В изумлении Турок пошел на вызов и вернулся расстроенным. Ему сказали, что говорят из НКВД, ему надо завтра к 9 часам утра явиться на Кузнецкий мост, внизу для него уже будет лежать пропуск. Об этом он не должен говорить никому, в том числе и жене, а в институте придумать что-нибудь, объясняющее его отсутствие. Мы никогда ничего не скрывали друг от друга, и Турок сразу обо всем мне сообщил. После этого он пошел и купил четыре пачки папирос. Дело в том, что, когда мы познакомились, Турок был заядлым курильщиком, а я не переносила табачного дыма. По моей просьбе он сразу бросил курить. Закурил он снова в начале войны, но по окончании опять бросил. Тут он мне объяснил, что, закуривая, выигрывает несколько секунд для обдумывания ответа. Время было тревожное, опять шли аресты, неизвестно было, зачем его вызывали. В «Большом доме» Турока допрашивали подряд 12 часов. Следователи менялись, а он должен был непрерывно отвечать. Начали с того, что ему изложили все «криминальные» пункты его биографии — отец купец и белоэмигрант, Турока не перевели в ВКП(б), теща — враг народа. После этого его стали спрашивать о его восточноевропейских друзьях и знакомых. Турок отвечал очень осторожно, не понимая цели допроса. Наконец, вечером его отпустили. Только когда начались процессы Ласло Райка, Трайчо Костова и других, мы с Туроком поняли, что это была подготовка данной акции. В НКВД, наверное, думали, что перепуганный Турок рад будет выложить всевозможные порочащие обстоятельства, касающиеся его знакомых и друзей, но за часы допроса убедились, что из Турока извлечь компрометирующий материал нельзя без применения «физических методов», а зачем им было возиться, когда вокруг было столько людей, готовых сотрудничать со столь могущественной организацией? То напряжение стоило Туроку много нервов и отразилось на его здоровье.

Не знаю, сообщило ли НКВД в Институт истории о своем неудовольствии поведением Турока, но отношение начальства к нему все больше ухудшалось. К тому же сгушалась общая обстановка в стране. Кажется, в конце июля 1952 г. в Институте истории было общее собрание с подведением итогов за полгода. Турок ушел на него. Я убирала комнату и вдруг ветер захлопнул дверь в квартиру. Я осталась на лестнице в халате и рваных тапочках на босу ногу. Пришлось идти в Институт к Туроку за ключом. Я вызвала Турока с собрания. Он отдал мне ключи и растерянно сообщил, что директор института А. Л. Сидоров заявил в своем докладе, что необходимо очистить институт от лиц порочных взглядов и в числе тех, кого собирался уволить, назвал Ф. А. Хейфец, Л. И. Зубока, а также его, Турока. Возможно, что начальство, дававшее директивы Сидорову, решило, что Турок, как и Зубок, — еврей, а Попов — его псевдоним. Официально Турока увольняли за его статью о Германии. Позднее, 20 марта 1953 г., А. Л. Сидоров в докладе на Президиуме АН СССР о работе Института истории сообщил о Туроке: «Раздел главы V для VIII тома „Всемирной истории“, посвященной истории германской революции (объем 1 п. л.) и написанный Турок-Поповым в 1952 г., признан порочным, так как автор по существу дает историю контрреволюции в Германии. Работа построена на буржуазных источниках, а ленинские труды остались неиспользованными. Авторский коллектив, редколлегия VIII тома и сектор признали работу порочной. Турок-Попов решением сектора отстранен от работы над „Всемирной историей“».

Естественно, что обвинение в неиспользовании ленинских работ являлось вздорным. Турок знал требования и цитировал все, что по данному вопросу можно было у Ленина найти, но даже из этой формулировки А. Л. Сидорова видно, что «порочность» статьи Турока заключалась в том, что он писал по

немецким первоисточникам, а не просто переписал наши газетные статьи по данному вопросу. Теперь за это его собирались уволить.

Турок, полный сомнений, советовался со мной: выступить ли ему и сказать, что он должен по плану сдать в декабре книгу по истории Австрии 1918—1938 гг., плод пятилетней работы, и вдруг его уволят за одну статью. Пусть ему дадут возможность сдать основную работу и судят по ней, а не по небольшой статье. Но дирекция может в раздражении закатить такую формулировку, что потом никуда не поступишь. Я решительно заявила, что он должен сейчас выступить, терять все равно нечего. Со мной согласился проходивший мимо Б. Ф. Поршневу.

Выступление Турика поддержали еще два человека, и Сидоров неожиданно согласился отложить увольнение до обсуждения его основной работы, очевидно, решив, что все равно обсуждение Турика пройдет так, как нужно дирекции. Так Турок зацепился в институте, а остальных уволили.

Турок стал усердно дописывать свое сочинение, и к моменту, назначенному для сдачи, было все готово. Работу он сдал в машбюро под расписку, что рукопись с таким-то количеством страниц сдана, умоляя машинисток не отдавать ее никому, кроме автора: он боялся, что дирекция ее возьмет и уничтожит, а потом ничего нельзя будет доказать. Такая большая рукопись (потом оказалось, что в ней около 50 печатных листов) перепечатывалась больше трех месяцев, поскольку приходилось отвлекаться на перепечатку более срочных дел, а тем временем умер Сталин. Как только все в перепечатанном и считанном виде поступило в дирекцию, Турок стал широко раздавать оставшиеся у него экземпляры и черновик для прочтения всем, кто только интересовался, прося лишь выступить на обсуждении, а каким образом — это уже зависело от читавшего. Тем временем дирекция давала работу на прочтение тем, кто соглашался ее угробить.

Обычно в обсуждении работы участвуют несколько сотрудников сектора и один-два человека со стороны, приглашенные начальством. На этот раз сразу записалась больше 20 человек, а настроение аудитории было явно в пользу Турика. В результате обсуждение проходило на трех заседаниях, каждый раз с перерывом в несколько дней, в продолжении которых дирекция лихорадочно вербовала себе сторонников.

Тут надо отметить редкий в то время пример благородства: М. А. Полтавский, занимавшийся современной Австрией, работал в издательстве АН и мечтал перейти в Институт истории. Дирекция института дала ему на рецензию работу Турика, заверив, что по увольнении его примут на это место Полтавского. Однако, прочтя работу, Полтавский счел ее хорошей и отказался дать отрицательный отзыв. В результате он в институт перешел после ухода Турика в Институт славяноведения. Турок всегда помнил об этом поступке Полтавского.

Иначе, чем Полтавский, повел себя писавший по современной экономике Австрии преподаватель Академии общественных наук Статутов. Он прочел рукопись Турика уже ко второму дню обсуждения и вернул ее Турику у нас дома, дав весьма благоприятный отзыв, но предупредил, что может не иметь возможности прийти на обсуждение. Тогда Турок предложил ему продиктовать свой отзыв, а сам сел за машинку и, записав его под диктовку в одном экземпляре, дал отзыв Статутову для исправления и подписи. Статутов исправил несколько фраз своей рукой, а потом неожиданно смял бумагу и выбросил ее в корзину, сказав, что лучше он дома сам напишет отзыв полнее. Статутов пришел на второй день обсуждения, прослушал речи двух представителей дирекции, получил слово вне очереди и, неожиданно для нас, выступил в разгромном стиле. Дома Турок тут же бросился к корзинке для бумаг и нашел там смятый отзыв Статутова, не подписанный им, но с его фамилией и датой и с исправлениями, им сделанными. Я разглядела утюгом эту бумажку, Турок с утра заверил ее в нотариальной конторе, получив несколько заверенных фотокопий. В своей заключительной речи Турок сказал, что зачет отзыв, который не был оглашен

и прочитал первоначальный текст Статутова. «Кто это написал?» — раздалось из аудитории. «Статутов», — ответил Турок и пустил по рукам фотокопии. Председательствующий зав. сектором Турока Н. И. Саморуков растерялся. «А где Статутов?» — воскликнул он. «В Общественной Академии», — презрительно ответил Турок. «В Академии общественных наук», — назидательно поправил Саморуков. Эта сцена произвела сильное впечатление: вот какие люди выступают против Турока и какую цену имеют их отзывы.

Всего выступили или прислали письменные отзывы 63 человека, причем подавляющее большинство в пользу Турока. Создалось впечатление, что впервые научная общественность дала бой дирекции. Еще три-четыре месяца назад уволили трех уважаемых докторов наук при всеобщем молчании, а тут встали на защиту младшего научного сотрудника. Главным фактором, конечно, была смерть Сталина, но имела значение и та роль неформального лидера всех противников серости и начетничества, которую Турок играл в институте.

Отклонить работу как плохую не было возможности. Несмотря на все усилия дирекции она была в июле 1953 г. рекомендована к изданию. Это была полная победа Турока!

Книгу Турока в виду ее большого объема выпустили в двух томах. Первый том под названием «Очерки истории Австрии 1918—1929» вышел в 1955 г. [3]. В это время Туроку повезло: на XX съезде КПСС в Москву приехали первый секретарь компартии Австрии Ф. Фюрнберг и член ее политбюро Ф. Хоннер. У Турока был в это время грипп и он лежал дома. Свидание старых товарищей было очень дружеским. Турок подарил им по экземпляру своих «Очерков». Фюрнберг, долго проживший политэмигрантом в Москве и свободно читающий по-русски, через несколько месяцев поместил положительную рецензию на эту книгу в газете компартии «Фольксштимме», так и у нас в журнале «Вопросы истории» [4]. Это стало весомым аргументом в пользу Турока, и он решил защитить книгу в качестве докторской диссертации.

Внезапный приступ желчнокаменной болезни, вызвавший срочную операцию и обострившийся наметившийся паркинсонизм несколько отдалили защиту, но она была, наконец, назначена на начало 1957 г. Турок вышел на защиту с палочкой. Незадолго до этого он подарил А. Л. Сидорову свою книгу с надписью: «От самого старшего из младших научных сотрудников». Намек был понят и за две недели до защиты Сидоров перевел Турока в должность старшего научного сотрудника.

Перед защитой активизировались враги Турока в институте, в первую очередь всякого рода начальство. Например, зав. отделом кадров Горошкова ходила по институту и говорила, что Турок не мог написать хорошую диссертацию по Австрии: «Я смотрела его анкету, он не знает австрийского языка».

Защита состоялась весной 1957 г. Из 20 членов ученого совета два голосовали против и двое воздержались. 15 февраля 1958 г. степень доктора была утверждена ВАК. С этого момента начался расцвет деятельности Турока: он стал уважаемым доктором наук и с ним приходилось считаться.

В начале 1961 г. Турок решил публично выступить против мертвящей догмы и серости в исторической науке. В «Литературной газете» он опубликовал статью «Историк и читатель». В ней он писал: «Удивляет появление однообразных серых работ, навевающих уныние и вызывающих желание бросить книгу. Особенно это относится к той части исторических работ, которые предназначены для студенчества. А ведь именно для молодежи и надо бы писать интересно... Историк должен быть мастером слова, но сверх того обладать глубоким знанием предмета. Столь же ясно, что слово, изреченное без мысли и чувств, есть ложь» [5]. От других статей с благими призывами выступление Турока отличало то, что он назвал фамилии, как тех современных историков, которые умели хорошо писать, так и фамилии людей, служивших ему отрицательным примером. Это были сотрудники Института истории, много лет не выдававшие научных работ, А. Л. Лавров и М. Г. Сазина. Разбирая два учебника по новейшей истории, один —

ЛГУ под редакцией В. Г. Ревуненкова, другой — Института истории АН СССР, Турок утверждал, что если срезать название страны, мало кто поймет, какая страна описывается, настолько все дано по одной и той же схеме. Опубликование этой статьи, необычной по тем временам, когда критиковать полагалось лишь по указанию сверху, и не тех, кто по своему партийному и начальственному положению привыкли сами всех распекать, вызвало бурную реакцию. В «Литературную газету» посыпались отклики, в большинстве положительные. Но упомянутые в статье лица и учреждения выражали ярое возмущение. По предложению Турока, 3 марта 1961 г. состоялось публичное обсуждение статьи, организованное «Литературной газетой». На него пришли не только историки, но и ученые других специальностей, например физики и литераторы. Выступили 23 человека, из них 19 в основном в поддержку статьи Турока. После этой статьи и ее обсуждения имя Турока стало известным среди интеллигенции Москвы и Ленинграда.

В 1961 г. реорганизовался Институт славяноведения АН СССР (потом прибавили к названию «и балканистики»). Директором был назначен молодой И. И. Удальцов. Он набирал преимущественно молодежь, с которой вместе учился. У них была иллюзия, что они смогут держать в институте только работающих ученых, без бездарей и бездельников. Однако, как говорится, «нельзя перевести только один автопарк на левостороннее движение», и постепенно Институт славяноведения стал не очень отличным от других гуманитарных институтов АН. Но тогда, полная энтузиазма и смелых планов, молодежь стала уговаривать Турока перейти к ним, а директор Института истории был готов отдать своего колючего сотрудника даже с его ставкой. Так Турок перешел на работу в Институт славяноведения.

В институте он оказался очень нужен. Сотрудники в большинстве были молоды и знали язык и обстановку только той страны, или даже части страны, которую изучали. Турок же имел широкий кругозор, мог разбираться в проблемах разных стран Восточной Европы и подойти к ним с различных точек зрения. Поэтому он принимал участие в обсуждении разных работ. Он сам в институте отдыхал душой после всех преследований, которым подвергался в Институте истории, и очень плодотворно работал. В 1963 г. вышел второй том его «Очерков» [6], а потом ряд статей и разделов. Тогда же Турок решил публиковать свои воспоминания о коммунистических деятелях 20—30-х годов под названием «Улица Коминтерна» (Воздвиженка, на которой стояли здания Коминтерна и нашего МАИ). Он успел написать всего шесть очерков и опубликовал пять из них в различных сборниках института.

Институт славяноведения тогда помещался в Трубниковском переулке, занимающая старый особняк, построенный в первой половине XIX в. Посредине был небольшой зал с колоннами, от которого в разные стороны шли двери в другие комнаты. Вот в этом центральном зале Турок усаживался в кресло, а вокруг него собирались сотрудники. Обменивались информацией, высказывали научные мнения, болтали, и Турок рассказывал свои, как он их называл «Новеллы» о судьбах людей 20—30-х годов, которых он знал или о которых читал, например о Ф. Ф. Раскольникове или о «Мурке» — Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг, близкой к Р. Локкарту, М. Горькому и Г. Уэллсу, о которых тогда не писали². Кроме того Турок любил слушать и рассказывать анекдоты: они в интеллигентской среде фактически все были политическими. Начальство сильно косилось на эти беседы в центральном зале.

Толчком к популярности Турока был первый его выезд за рубеж в 1964 г. в составе советской делегации, возглавляемой Ю. А. Писаревым, в Будапешт на III Международную конференцию о причинах и обстоятельствах распада Австро-Венгрии. Там румынская делегация из четырех человек под руководством члена ЦК румынской компартии, видного члена правительства Румынии Мирона

² О Туроке, как рассказчике, см. [7].

Константинеску представила общий доклад, суть которого была в утверждении, что румынское государство однонационально и Трансильвания всегда была населена румынами. Это, якобы, было доказано решением собрания в Альба Юлии 1 декабря 1918 г. о присоединении Трансильвании к Румынии. Венгерские историки кипели, но как хозяева конференции ничего не могли поделать. Трансильвания, где живет смешанное венгерско-румынское население, издавна была спорной областью между этими двумя государствами. Гитлер разделил ее на две части, одну отдал Венгрии, другую — Румынии, а Сталин, считавший себя вправе, как и Гитлер, распоряжаться народами, передал всю Трансильванию Румынии. Вначале там соблюдались права венгерского меньшинства, а с назначением главой Трансильвании Николае Чаушеску 1 млн венгров Трансильвании стали насильственно ассимилировать, закрыв венгерские школы, венгерскую газету, переименовав местности на румынский лад и т. д.

Турок вдруг выступил в прениях и сказал то, что думал. Он похвалил румынский доклад за большую работу и прибавил, что советские люди всегда уважали румынскую компартию за интернационализм: одним из основателей румынской компартии был Борис Стефанов, болгарин из Добруджи, руководителями ее являлись бессарабец Павел Ткаченко и Павел Финдер, еврей Макс Гольдштейн и т. д. Состав руководителей компартии Румынии отражал характер населения страны. Решение в Альба Юлии было вынужденным, так как румынская армия тогда стояла у границ Трансильвании, и солдаты бесчинствовали в нерумынских селах [8]. Хотя на выступление полагалось 10 минут, но аудитория все продлевала Туроку время, и он говорил более получаса.

Участники конференции относились к Туроку с уважением: они увидели перед собой человека эрудированного, свободно владеющего немецким, не боящегося импровизировать, легко входящего в контакты, любящего пошутить и ввернуть остроумное словцо. Вообще Турок никогда не следовал негласным правилам поведения за границей: он не стремился сразу «разоблачить» капиталистического историка, «заклеймить» его, держаться от него подальше. Наоборот, Турок был общительным, внимательно выслушивал своих коллег, шутил с ними. Однажды австрийский историк-коммунист Герберт Штейнер весело заметил ему: «Ты вводишь людей в заблуждение, они будут думать, что все советские историки такие».

На советскую делегацию и румын выступление Турока произвело впечатление разорвавшейся бомбы: румыны никак не ожидали такой атаки с советской стороны, а советские делегаты были поражены дерзостью Турока, осмелившегося выступить без согласования с московскими инстанциями. Писарев был недоволен, что тем самым на глазах у западных коллег выявились разногласия в монолитном лагере историков соцстран (будто там об этом не знали!).

После выступления Турока был объявлен перерыв. Мирон Константинеску поспешил к себе в посольство и связался по телефону с главой румынского правительства Г. Георгиу-Дежем: как поступить? Тот дал указание: заявить, что выступление Турока неверно, но не обострять отношений с советской стороной. Поэтому Константинеску в заключительном слове сказал, что Турок некомпетентен в данном вопросе.

Когда делегация вернулась в Москву, все зависело от того, как это представит Писарев в своем докладе в Президиум АН. Слух о поступке Турока, конечно, сразу разнесся, и кое-кто настаивал на карательных мерах. Однако Писарев подал в Президиум чисто формальный доклад: было столько-то заседаний, советская делегация сделала столько-то докладов, столько-то раз выступила в прениях. Хвостов, к которому попал этот доклад, конечно знал о «будапештской бомбе» Турока и спросил Писарева укоризненно: «Что Вы так формально написали», но не в его интересах как директора Института истории было раздувать этот инцидент и все осталось без последствий.

Результатом будапештского выступления стало то, что Турока начали персонально приглашать на различные конференции и симпозиумы историков за-

границей. Тогда заграничные поездки у нас были редкостью, но беспартийный Турок стал выезжать, иногда по несколько раз в году, в Австрию, Венгрию, Болгарию, Чехословакию, побывал в Югославии, ГДР и Финляндии. В 1969 г. в Вене он познакомился с Бруно Крайским и тот, став канцлером Австрии, создал в 1972 г. Историческую комиссию по истории Австрии и пригласил в нее Турика. Последний настоял на том, чтобы в комиссию были включены и три австрийских историка-коммуниста. Тем самым он заручился поддержкой руководства компартии Австрии, которая, в свою очередь настаивала перед ЦК КПСС на необходимости деятельного участия Турика в комиссии.

Завязав во время этих поездок обширный круг знакомств, Турок неизменно приглашал всех, кого знал, к себе домой, когда они приезжали в Москву. Кто только у нас не побывал из стран Восточной Европы, Австрии, ГДР и ФРГ! Среди советских историков мы были единственными, так широко принимавшими иностранцев. Еще не был изжит внушенный во времена Сталина страх перед общением с иностранцами, да и жилищные условия не позволяли приглашать их к себе, не говоря уже о вечном дефиците продуктов. Мы же, после возвращения мамы из лагеря и ссылки и восстановления ее в партии, к тому времени имели трехкомнатную квартиру. Приходили не только поодиночке, но иногда и вся приехавшая в Москву на симпозиум делегация, человек двенадцать. Для безопасности Турок применял «маленькие хитрости»: старался, чтобы при этом присутствовал кто-нибудь из партийного институтского начальства или переводчик при гостях, в общем кто-нибудь, кто мог донести «куда надо», что никаких контрреволюционных заговоров не велось. Подружившись с послом Австрии В. Водаком, Турок извещал о встречах с ним курировавшего Австрию в ЦК Молчанова, типичного советского чиновника, застегнутого на все пуговицы и высокомерного. Фюрнберг говорил о нем: «Молчанов прогрессирует: он теперь понимает уже каждую пятую шутку». Молчанову Турок был нужен, так как он сам плохо разбирался в политической жизни Австрии. В свою очередь Водак, очевидно, решил через Турика доносить до советского начальства свои идеи о возможной роли Австрии как посредника между Западной и Восточной Европой. Таким образом, свои связи с иностранцами Турок демонстративно вел на глазах у начальства и ни разу не пострадал за них.

В 1967 г. в Москву прибыл издатель венского «Еуропа-Ферлаг» Эрих Погац и предложил Турику перевести и издать его «Очерки» как советскую точку зрения на историю Австрии. Нашлась и переводчица в Вене, Лили Ергиц. Турок усердно работал: чтобы избежать искажающего двойного перевода, он должен был найти в своих ста тетрадях цитаты в оригинале и составить на немецком список всех употребленных им терминов. Работа шла в течение года, и мы с Туриком по приглашению Погаца гостили месяц в Австрии. На следующий год Турок приехал в Вену, и Погац созвал совещание по поводу рукописи. Турок попросил слово первым и сказал, что, прочитав заново свою книгу, он пришел к следующему заключению: получается, что во всех несчастях Австрии, включая аншлюс, виновата социал-демократия, но ведь это не так. Оценка австромарксистов и Отто Бауэра — односторонняя, предвзятая. Назначенный Погацом рецензент заявил, что ему нечего сказать: все, что он хотел, уже выразил сам автор. Погац предложил Турику переделать книгу для ее опубликования в Австрии, но Турок знал, что ему не позволят публиковать что-либо, отличающееся от официальной советской точки зрения, отразившейся в его «Очерках». Так его книга и не увидела свет за границей.

В начале августа 1968 г. мы оказались по линии научного туризма на Конгрессе славистов в Праге. Турок сразу окунулся в атмосферу «Пражской весны», повсюду ходил, со всеми общался. Отношение к советским людям было хоршее: только что прошла встреча Дубчека с Брежневым в Чьерне-над-Тиссой, казалось, покончившая с конфликтной ситуацией между обеими странами. Однако Турику пришлось около Вацлавской площади спасать сотрудника своего института Е. П. Наумова от группы разъяренных чешских студентов. Наумов объяснял

им, что Дубчек под влиянием немецких реваншистов разжигает контрреволюцию в Чехословакии (советская официальная точка зрения). Турок вмешался, сказал студентам, что не все в Москве придерживаются мнения Наумова, и отъехал внимание на себя, предложив Наумову тихо удалиться, что тот и сделал. Уехали мы из Праги 15 августа, а утром 21-го в Москве Турок, слушавший радио, меня разбудил: советские танки вошли в Чехословакию.

В 60—70-е годы, во время развития диссидентского движения, Турок, привыкший считать революцию единственным способом коренного изменения политических условий, не верил, что этого можно добиться легальным путем и жертвенностью. Однако он, естественно, сочувствовал диссидентам. Мы платили двойной добровольный взнос в помощь политзаключенным и их семьям, и Турок где мог выступал против безобразий нашей жизни, но держался на грани дозволенного. Так, он в Президиуме АН и в институте протестовал (к сожалению, тщетно) против списка якобы ненужных книг на складах. Этот перечень был составлен комиссией под председательством Павла Романова (шутили: «Второго») и в него входили, например, тома Полного собрания русских летописей, «Боярская дума» Ключевского и т. п. Когда Турока ввели в редколлегия научно-популярной серии АН по разделу истории, он старался продвигать книги прогрессивного характера и при этом сталкивался с упорным противодействием секретаря редколлегии В. А. Боярского. Тот был раньше следователем КГБ и вел дела с применением пыток как в СССР, так и при организации процессов Ласло Райко и Трайчо Костова (о последнем факте нам сообщил Иван Стефанов, обвинявшийся по тому же процессу). С Туроком Боярский был медоточиво-сладок, целовал мне руку (брр!). Туроку удалось опубликовать книгу А. М. Некрича (которому тоже помогал в аспирантуре) «1941. 22 июня», вызвавшую потом бурю и исключение Некрича из партии³. Однако Турок не смог «протолкнуть» работу молодого ленинградского историка Алексева о восстании в варшавском гетто. Он все же заставил издательство заплатить Алексеву за принятую, но не опубликованную работу.

В 70-е годы, когда дело в верхах шло к реабилитации Сталина, Турок стал разыскивать людей, встречавшихся с ним и записывать их рассказы, в которых Сталин выглядел таким, каким был на самом деле: малообразованным, грубым, нетерпимым и т. п. Потом эти записи, в частности о том, как Сталин, не зная немецкого языка, писал по немецким материалам «Марксизм и национальный вопрос» и сделал ошибку при переводе Брюннской программы (первой социал-демократической программы по нацвопросу), Турок читал в качестве доклада во многих местах, в том числе в Высшей партийной школе в Ленинграде, а также в Австрии и Венгрии. То же он опубликовал в сокращенном виде в журнале «Народы Азии и Африки» [10]. Это все оформлялось на грани допустимого, которую Турок очень остро чувствовал.

В 1972 г. Турок был избран иностранным членом Исторического общества Венгерской Академии наук и торжественно получил грамоту, оформленную в средневековом стиле. В Вене же в 1977 г. ему был публично вручен орден «За науку и искусство» за его усилия по ознакомлению советских людей с историей Австрии. У Турока были также разные значки и медали компартии Австрии. Когда я говорила ему, что компартия Австрии недостойна поддержки, он всегда отвечал: «Я знаю, но другой партии у меня нет». Его отличительной чертой была верность.

С 1978 г. болезнь Турока так усилилась, что он больше не ездил за границу и почти не мог работать. В декабре 1980 г. к нему пришел приехавший в Москву знакомый историк Моммзен с женой. Моммзен попросил Турока написать статью в виде письма для сборника в честь 70-летия архивариуса Вены историка Р. Некка, дав для этого три дня: Моммзен уезжал в тот же день, а его жена через три дня. Турок согласился, но когда сел работать оказалось, что он не

³ Отзыв Некрича о Туроке см. [9].

может печатать на машинке. Он мне продиктовал по-немецки еще один отрывок из своей «Улицы Коминтерна», потом сумел просмотреть и исправить мои орфографические ошибки. Статья эта вышла в Вене уже после его смерти [11].

Умер Турок 23 сентября 1981 г., немного не дожив до 78 лет.

В той нашей, тогда жестко ограничиваемой и стандартизируемой, жизни Турок, мне кажется, представлял собой яркую фигуру. Он был умен и знающ, любил людей, старался им помогать и, думаю, достоин доброй памяти. А больше — говорить не мне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Международные отношения в Центральной и Восточной Европе. М., 1966. С. 151—170.
2. Турок В. М. Локарно. М.-Л., 1949.
3. Турок В. М. Очерки истории Австрии 1918—1929. М., 1955.
4. Вопросы истории. 1957. № 1. С. 157—161.
5. Литературная газета. 1961. 4 II.
6. Турок В. М. Очерки истории Австрии 1929—1938. М., 1963.
7. Шкловский И. Эшелон. Невыдуманные рассказы. М., 1991. С. 188—191.
8. Die nationale Frage in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. 1900—1918. Budapest, 1966.
9. Некрич А. М. Отрешись от страха. Лондон, 1978. С. 154—156.
10. Турок В. М. В. И. Ленин о Брюннской программе (1899 г.) по национальному вопросу//Народы Азии и Африки. 1970. № 6.
11. Turok V. M. Ein Brief an Rudolf Neck//Politik und Gesellschaft im alten und neuen Österreich. Wien, 1981. Bd. I.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

The Correspondence between Jan Baudouin de Courtenaj (1845—1929) and Vatroslav Oblak (1864—1896)/By Rado L. Lencek. München, 1992. 400 S.

Переписка между Яном Бодуэном де Куртенэ (1845—1929) и Ватрославом Облаком (1864—1896)

Рецензируемая публикация, подготовленная профессором Колумбийского университета (США) Р. Ленчеком, представляет собою третий том серии «История, культура и духовный мир южных славян», редактором которой является владелец Славистического издательства в Мюнхене доктор А. Ковач, членами научного совета — Р. Ленчек (Нью-Йорк), М. Окука (Сараево), И. Банац (Нью-Хавен), Б. Патерпу (Любляна), П. Хилл (Гамбург), И. Маткович (Клагенфурт), Г. Невекловски (Клагенфурт), Й. Симич (Загреб), Л. Спасов (Скопье).

Публикация охватывает небольшое количество материалов: 45 писем В. Облака Я. Бодуэну де Куртенэ, 16 писем Я. Бодуэна де Куртенэ В. Облаку и несколько документов по поводу смерти В. Облака, в том числе письмо Я. Бодуэна отцу покойного — И. Облаку. Из писем В. Облака Я. Бодуэну четыре опубликованы ранее [1]. Однако значение публикации определяется не количеством новых документов, а прежде всего их содержанием и их авторами.

Ян (Иван Александрович) Бодуэн де Куртенэ много сделал для развития русского и польского славяноведения. Он являлся одним из крупнейших лингвистов своего времени. Я. Бодуэн отличался необыкновенной талантливостью и добросовестностью исследователя и наряду с этим обладал уникальным даром определять направление дальнейшего развития филологии. «Он сделал эпоху в истории языкознания, — пишет о Я. Бодуэне А. А. Леопольд, — оставшись сам не понятым до конца современниками. Каждое последующее поколение языковедов открывает в нем что-то новое, существенное именно для данного

этапа развития лингвистической науки». Такого же мнения о Я. Бодуэне придерживается и Вяч. Вс. Иванов [2].

В отличие от Я. Бодуэна В. Облак смог только отчасти реализовать себя. Он прожил недолгую жизнь и умер через несколько лет после окончания Венского университета. Но и за этот срок Облак сумел сделать так много, что Я. Бодуэн де Куртенэ с полным правом мог написать его отцу: «С Ватрославом Облаком ушел в могилу, несомненно, самый значительный словенский филолог и один из первых филологов всего славянства» (С. 375).

В 1872—1873 гг. Я. Бодуэн изучал словенские диалекты в районе Горицы, Постойны, Толмина (Внутренняя Крайна), в округе озер Бохинь и Блед (Верхняя Крайна). Но особое внимание ученый уделил диалектам венецианских словенцев, проживавших в Северной Италии. Ему удалось собрать огромный материал не только благодаря своему трудолюбию, но и помощи словенских патриотов. С просьбой о содействии он не раз обращался через местную печать к любителям словенского языка. Я. Бодуэн имел среди них круг добровольных сотрудников, с многими из которых не прекращал сношений и после отъезда из словенских земель. Имя Я. Бодуэна было известно и пользовалось уважением в достаточно широких кругах словенского образованного общества. Поэтому не вызывает удивления факт обращения к нему семнадцатилетнего гимназиста из Целья В. Облака с просьбой прислать свои рецензии на труды по словенскому языкознанию (С. 184). Я. Бодуэн ответил юноше, как отвечал всем своим корреспондентам вне зависимости от

их общественного положения. Так между ними завязалась переписка, которая велась на словенском языке за исключением первого письма В. Облака, написанного по-немецки.

Р. Ленчек справедливо делит переписку между учеными на два периода: с декабря 1881 г. по январь 1884 г. и с мая 1886 г. по декабрь 1895 г. В первый период — это переписка между учеником и маститым ученым. Разница положения адресатов ощущается очень четко: Облак просит книги, советов по тем или иным вопросам, Бодуэн отвечает. Так, Облак спрашивал совета, какой грамматикой ему удобнее пользоваться для изучения русского языка (С. 184). Я. Бодуэн не советовал использовать «Русскую грамматику для словенцев» М. Маяра, а предлагал взять сочинение какого-нибудь русского писателя и читать его с помощью русско-немецкого словаря Павловского (С. 333). Когда В. Облак сообщил Я. Бодуэну о своем желании изучать санскрит и язык Авесты, Бодуэн заметил, что сначала надо выучить один язык, а затем уже браться за другой (С. 334). Много вопросов задавал Облак на филологические темы, и Бодуэн всегда осповательно отвечал на них.

Второй период переписки начинается со времени, когда В. Облак становится студентом филологического факультета Венского университета, и кончается за три с половиной месяца до кончины молодого ученого. Сначала корреспонденция между Бодуэном и Облаком сохраняет характер переписки между учителем и учеником, однако постепенно она становится перепиской между двумя коллегами-филологами. Облак не только спрашивает Бодуэна, но и делится с ним результатами своих исследований: относительно языка словенских писателей XVI—XVII вв., особенностей диалекта белокраинцев, о македонском языке, чакавском наречии хорватского языка и т. д. его вопросы по филологии теперь гораздо глубже. Я. Бодуэну приходится тратить на ответы значительное время. В письме от 30 августа (11 сентября) 1888 г. он признавался, что целых три дня просматривал свои материалы, чтобы написать ответ. При этом Бодуэн подчеркивал, что не жалуется на потерю времени, так как из просмотра извлек и для себя достаточно пользы (С. 346). Бодуэн высказывал молодому коллеге свое мнение о делении словенского языка на диалекты, знакомил его со своей методикой работы в полевых условиях. В переписке уделялось известное внимание оценкам трудов различных ученых: К. Глазера, А. Клодича, Г. Крека, А. А. Крынского, А. Лескиена, С. Новаковича, Д. Трстеняка, А. А. Шахматова, К. Штрекеля и других, обсуждались вопросы, связанные с лич-

ными плапами ученых. Облак, желавший прослушать лекционные курсы Бодуэна в Дерпте (Гарту), спрашивал об условиях, на которых он мог это сделать; Бодуэн интересовался делами, связанными с переходом Облака в Краковский университет и т. д. По просьбе В. Облака Я. Бодуэн не раз посылал ему свои материалы по словенским диалектам.

Отношения Я. Бодуэна и В. Облака отличались большим уважением друг к другу, доверием и доброжелательностью. «Вы были первым, — писал Облак своему старшему коллеге, — кто проявил доброту к бедному гимназисту и любезно поддержал его интерес к славистике» (С. 210). Я. Бодуэн имел высокое мнение о В. Облаке: «Каждый честный ученый может только с симпатией смотреть на Ваше трудолюбие и Вашу энергию» (С. 343).

Публикация снабжена обширным справочным аппаратом. Она начинается с «Предварительных замечаний» Р. Ленчека, в которых он выражает благодарность за помощь академику РАН Н. И. Толстому, директору Славистической библиотеки при Венском университете доктору Р. Преинерштоферу, ассистенту кафедры славянских языков Колумбийского университета П. Фестеру и владельцу Славистического издательства в Мюнхене А. Ковачу.

В «Редакционных замечаниях» отмечаются правила, по которым изданы документы. Автор подчеркивает, что, не желая модернизировать текст, он провел его транскрибирование возможно ближе к подлиннику. Затем идут краткие биографические сведения о Я. Бодуэне де Куртенэ и В. Облаке. В солидной статье «Переписка Ватрослава Облака и Яна Бодуэна де Куртенэ» Р. Ленчек дает характеристику их корреспонденции.

Далее следуют три основных раздела: письма В. Облака Я. Бодуэну де Куртенэ; письма Я. Бодуэна де Куртенэ В. Облаку; письма и материалы по поводу смерти В. Облака. Каждый из этих разделов в свою очередь состоит из трех частей: фотографии подлинников писем, их транскрибированный текст, комментарии. В последних указывается место нахождения каждого письма, отмечается его язык, адрес на конверте, если он сохранился, дается справка о его публикации (если она имеется), поясняется текст.

В книге имеются список сокращений, библиография трудов, посвященных обоим ученым, именной и предметный указатели, библиография лингвистических трудов В. Облака. Публикация источников и справочный аппарат выполнены безукоризненно.

Вызывает сожаление тот факт, что кириллический и готический тексты приводятся не в

подлинном виде, а переведены на латинский шрифт. Это особенно бросается в глаза при таком высоком уровне издания.

В статьях Р. Ленчека, написанных на хорошем научном уровне, есть, однако, некоторые недочеты. Автор почти не затрагивает русскую тематику. Так, среди учителей Я. Бодуэна он не упоминает И. И. Срезневского, знакомство с которым и определило долговременное внимание ученого к словенским диалектам, особенно к резьянским. Говоря о сфере лингвистических интересов В. Облака, Р. Ленчек перечисляет множество европейских ученых, упоминавшихся им в письмах, не указав ни одного русского. А ведь имена русских ученых встречаются в его письмах довольно часто. Это А. С. Будилович, В. И. Григорович, А. А. Потеня, И. И. Срезневский, А. А. Шахматов и др. Облак проявлял к России и русской науке повышенный интерес. Он выразился в его стремлении еще в гимназические годы изучить русский язык, в желании поехать учиться в Дерпт, в мечте «по окончании учебы отправиться в Россию поработать в библиотеках» (С. 208), в намерении после получения стипендии в Венском университете поехать для продолжения образования в Россию. Вообще в переписке с Бодуэном прослеживается внимание Облака прежде всего к славянским землям. Поэтому вы-

вод Р. Ленчека о космополитизме В. Облака, сделанный им на основе просьбы последнего к Я. Бодуэну найти для него место в каком-нибудь европейском университете (С. 208), мне кажется натянутым. Эта просьба была связана со стремлением молодого ученого избежать преподавательской деятельности в гимназии, а получить место работы, где бы он мог заниматься наукой. Об этом В. Облак прямо пишет в своем письме.

Эти замечания не уменьшают ценности публикации, с которой хотелось бы поздравить ее создателя профессора Р. Ленчека.

Чуркина И. В.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Murko M. Dr. Vatroslav Oblak//Anton Knezova knjižnica. Zbirka zabavnih in poučnih spisov. Ljubljana, 1899. T. VI; Документы к истории славяноведения в России (1850—1912). М.; Л., 1948.*
2. *Леонтьев А. А. Творческий путь и основные черты лингвистической концепции И. А. Бодуэна де Куртенэ//Я. А. Бодуэн де Куртенэ: К 30-летию со дня смерти. М., 1960; Иванов Вяч. Вс. И. А. Бодуэн де Куртенэ и типология славянских языков//И. А. Бодуэн де Куртенэ: К 30-летию со дня смерти. М., 1960.*

Г. ПЕРАЗИЋ, Р. РАСПОПОВИЋ. Међународни уговори Црне Горе, 1878—1918. Зборник докумената со коментаром. Подгорица, 1992. 816 С.

Г. ПЕРАЗИЧ, Р. РАСПОПОВИЧ. Международные договоры Черногории, 1878—1918. Сборник документов с комментариями.

Черногория — уникальная страна, государственная жизнь ее протекала так недолго и необычно, что к ней мало подходят привычные нам мерки. В глазах просвещенной Европы Черногорское княжество де-юре существовало около сорока лет, и эти годы можно назвать временем сверхактивности правящих кругов Черногории в международных отношениях. Это и понятно. Крохотная территория, сравнительно немногочисленное население, неразвитые производительные силы страны, бедность природных ресурсов, отсутствие квалифицированных кадров и даже менталитет народа, предпочитавшего участь «вечного воина» занятиям ремеслом или торговлей,—

все это делало шансы Черногории выжить и преуспеть незначительными. Однако при всех минусах был один несомненный плюс — выгодное стратегическое положение страны и ее высокий авторитет в освободительном движении на Балканах. В сочетании с боевитостью и исключительными военными качествами черногорцев, княжество становилось в глазах великих держав, боровшихся на рубеже XIX—XX вв. за влияние на Балканском полуострове, серьезным фактором. Многие из участников «европейского концерта» предпочитали иметь Черногорию своим союзником, а не противником. Это отлично понимал и сам князь Николай и те немногие государственные

десятели, которые реально могли повлиять на политический курс страны. Отсюда и проистекала та повышенная активность княжеского правительства в международных делах, которая была уже современникам совершенно очевидна (как, впрочем, и пониженное внимание князя к внутренним проблемам своей державы). Сборник международных договоров Черногории, составленный доктором Г. Перазичем и магистром Р. Распоповичем — красноречивое тому подтверждение.

В настоящей рецензии мы не беремся судить о достоинствах и недостатках этой публикации с точки зрения истории международного права, об этом обязательно напишут специалисты. Хотелось бы попытаться оценить книгу с позиций историка, изучающего жизнь Черногорского княжества в конце XIX — начале XX вв. Исследователи, которых привлекала названная проблема, знают, с какими сложностями приходится сталкиваться при сборе источникового материала. К несчастью, многие важные исторические документы постигла та же трагическая участь, что и самое Черногорское государство — они погибли в огне первой мировой войны. А те, что сохранились, не очень-то доступны широкому кругу историков. Например, нам, россиянам, нелегко добраться до черногорских архивов. Для начинающих историков, студентов и аспирантов это сегодня уже почти невозможно. Количество публикаций источников по истории Черногории в общем невелико. К тому же нередко эти публикации разрознены, посвящены небольшим историческим сюжетам и непродолжительным периодам, многие из них стали библиографической редкостью. В этих обстоятельствах появившийся сборник документов намного облегчает работу над изучением внутри- и внешнеполитического положения Черногории в 1878—1914 гг.

Чем интересна профессиональному историку рецензируемая книга? В ней в хронологическом порядке напечатаны тексты практически всех двухсторонних договоров, заключенных правительством княжества в указанные годы. Благодаря такому расположению материала можно судить о том, что составляло суть внешнеполитической деятельности молодого государства. Упорядочение отношений с ближайшими соседями, разграничение с ними, расширение территориальных владений Черногории в соответствии с Берлинским трактатом, установление общепринятой в Европе системы почтового и телеграфного сообщения, судоходства и торговли и т. д. — вот содержание большинства договоренностей княжества в конце 1870-х — 1890-е годы, многие из которых были продлены в начале XX в. Кроме того, уже в 1880-е годы появляются первые договоры о займах

Черногории. В 1890-е годы соглашения о займах и порядке выплат княжеством своих долгов стали частыми, почти постоянными. Это позволяет сделать вывод о затрудненном финансовом положении страны. В начале XX в. появились на свет договоры о концессиях иностранным компаниям в Черногории, следовательно, ее правящие круги пытались найти выход из финансовых проблем и хоть немного развить производительные силы страны с помощью иностранных вложений. Встречаются в сборнике и материалы о культурном сотрудничестве Черногории с некоторыми странами Европы, например, конвенции о защите литературных и художественных произведений. Ясна и география дипломатических усилий княжества — от великих европейских держав до Северной Африки, Египта.

Вместе с тем, с точки зрения историка, с которой, возможно, и не согласятся авторы публикации, интересно было бы сгруппировать документы по проблемному признаку, выявить, скажем, приоритетные направления внешнеполитической деятельности черногорского правительства и расположить источники в соответствии с этими направлениями. Тогда яснее высветился бы уровень политических связей Черногории с различными странами, стало бы очевидно, с какими партнерами княжество было связано политическими обязательствами, где преобладали экономические интересы, с какими странами контакты поддерживались формально на определенном дипломатическом уровне в рамках официальных соглашений, выявились бы постоянные и единичные связи. Такое расположение материала само по себе показало бы, кто был союзником, кто соперником, в чем сходились внешнеполитические задачи Черногории с другими государствами, а где возникали трения и конфликты. На наш взгляд, так можно найти ответ на вопрос, как удалось княжеству при незначительных размерах сыграть большую активную роль на Балканах на рубеже веков.

Широко известна история особо тесных отношений России и Черногории, чьи архивы содержат достаточно сведений о размерах российской финансовой помощи черногорцам. Ежегодные выплаты на нужды черногорского народа и правительства, военная субсидия, личные субсидии князю Николаю и престолонаследнику Даниилу, не говоря уже о деньгах для черногорских учебных заведений, монастырей и т. д., приобрели к началу XX в. жизненно важные для княжества масштабы. К сожалению, авторы не показали, существовали ли документы, которые бы объясняли, на основании каких договоренностей шли эти дотации, как выплаты влияли на ха-

рактик русско-черногорских связей, ограничивала ли финансовая помощь России в чем-либо самостоятельность Черногорского государства. Нам кажется, что в рецензируемом сборнике российско-черногорские отношения, в главных чертах определившие внешнеполитическое положение Черногории в исследуемый период, растворились в общем объеме документов и отошли на второй план, тогда как преуменьшение «российского фактора» во внешнеполитическом курсе Черно-

гории рубежа XIX—XX вв. может в целом исказить картину ее международного положения.

Рассматриваемый сборник документов не должен остаться незамеченным учеными. Книга расширяет источниковую базу исследований по черногорской истории и навсегда сохранит для последующих поколений уникальные исторические документы.

Хлебникова В. Б.

ТЕМА СИБИРИ В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЬСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Почти в самом начале контактов Польши и России возникает тема Сибири. Поляки оказывались там в качестве путешественников, исследователей, купцов, но прежде всего — ссыльных и каторжан. Восприятие Сибири лишь как места, связанного с репрессиями по отношению к польским патриотам, на долгое время сохранилось в национальном сознании. В большой степени этому способствовала послевоенная политика государства — запрет упоминания Сибири привел к тому, что это была чрезвычайно волнующая все общество тема. С другой стороны, в течение ряда лет польские средства массовой информации старались освещать самые лучшие стороны жизни в Сибири — она являлась лучшим доказательством превосходства советской экономики. Именно здесь осуществлялись чудеса техники, покорялась враждебная природа, людям жилось благополучно и радостно. Такая картина сибирской жизни создавалась перед польской аудиторией. Однако память о прошлом порождала недоверие по отношению к подобным сообщениям, усиливая подосознательное убеждение в инфернальности этого края. Негативная коннотация Сибири как места ссылки в XIX в. усиливалась репрессиями сталинских времен, свидетели и жертвы которых живы по сей день. Невозможность высказывания свободного суждения способствовала разрастанию мифов, связанных с самим словом «Сибирь», а принудительное молчание являлось лучшим подтверждением распространенных представлений. В свою очередь искажению образа Сибири способствовали и нелегальные издания. Акцентируя ее мученический характер, они укрепляли метафорическое значение Сибири (этим именем в Польше называются любые места, независимо от их географического положения, в которых находились польские ссыльные). Избирательность со-

общений о Сибири создавала, таким образом, у читателя впечатление, что там жили почти исключительно патриоты, несправедливо преследуемые польскими властями. При этом забывалось не только об обычных уголовниках, сосланных за страшные преступления, но и прежде всего — о местном населении: якутах, бурятах, остяках и др.

В последнее время в польских публикациях можно отметить изменения в освещении Сибири. Предприняты исследования культуры этого региона. Например, в 1989 г. вышла подготовленная А. Кучиньской книга «Далекие и близкие народы» [1]. Это антология польских текстов, воссоздающая широкую панораму культуры зауральских народов. Автор, отдавая себе отчет в том, какие ассоциации вызывает у среднего поляка Сибирь, делает акцент на экзотике этого региона. Хотя в книге использованы литературные тексты, она носит этнографический характер.

К области истории литературы относится антология произведений ссыльных, составленная З. Трояновичевой — «Сибирь романтиков» [2]. Здесь, в частности, отражены пути на каторгу, условия существования, литературная деятельность польских писателей и мыслителей, находившихся в ссылке, однако, в первую очередь осуществляется критика мифов, которыми обросло сибирское изгнание. Следует упомянуть, что на общественное сознание самое большое влияние оказывала именно мемуарная литература периода романтизма. Ее мученический характер искажал картину жизни в ссылке, но соответствовал ожиданиям читательской аудитории.

Э. Качиньска в историческом исследовании «Сибирь — самая большая тюрьма мира» [3] излагает основные сведения о правовых аспектах ссылки, ее характере и масштабах, о существо-

вавших в Сибири условиях и отношениях между людьми; «Ссылка и каторга в Сибири в истории поляков 1815—1914» [4] является антологией воспоминаний.

Следующей важной публикацией явился труд уже упоминавшегося выше А. Кучинского «Сибирь. Четыреста лет польской диаспоры» [5]. Внимание читателя здесь прежде всего обращено на связи поляков с Сибирью, подчеркнута их культуротворческая роль. Труд состоит из двух частей — монографического очерка и антологии, составленной в хронологическом порядке. Тексты подобраны таким образом, чтобы показать, как в трудных условиях осуществлялось творческое сотрудничество в познании этого края в таких проблемных аспектах, как этнография, наука о земле, экономика и т. п. Приведенные фрагменты воспоминаний освещают путь в ссылку, край и живущих там людей, общественно-политические отношения, характерные для Сибири, а также встречи с поляками, их вклад в научные исследования, байкальское восстание и битвы V Сибирской дивизии. Картину дополняют рассказы о приключениях, связанных с поисками золота, с побегам из ссылки и т. п.

Слова «четыреста лет польской диаспоры» в заголовке книги дают понять, сколь долго уже длятся эти польско-сибирские контакты. В отличие от многообразия судеб различных народов, оказавшихся в этих краях, для поляков Сибирь была прежде всего связана с неволей. Ведь этот край, как пишет автор, вместил «волны пленных, начиная с войн Стефана Батория с московским государством, участников барской конфедерации и восстания Костюшко и кончая массовыми ссылками и депортациями новейшего времени» [5. С. 15].

Труд Кучинского представляет нестереотипный образ Сибири. Мартирологическая тема, затрагиваемая в авторском очерке и в текстах антологии, не является доминирующей. Наряду с картиной преследования книга освещает совершенно иные измерения сибирского существования. Показан край, где некоторые могли реализовать свои научные интересы. Такие исследователи, как Б. Дыбовский, Я. Черский, А. Чекановский и другие, хотя и были ссылными, посвятили свое время и способности именно земле своего изгнания. Интерес к экзотике жизни местного населения побудил некоторых ссылных заняться этнографией самостоятельно — они исследовали язык, культуру, обычаи и нравы. Этнографические исследования привлекли почти всех писателей, живших в этих краях, а особенно — Серошевского, Немоевского и даже ксензда Ф. Чечерского. Многие ссылные — что обычно

упоминается неохотно — после освобождения по амнистии остались в Сибири, были и такие, кто после возвращения в Польшу не смог найти своего места и вновь возвращался в землю «неволи», ибо она оказывалась гораздо более доброжелательной.

Эпоха позитивизма — первый период индустриализации Сибири — привлекла на эти территории многих поляков. Инженеры, врачи, администраторы, военные, даже купцы, мелкие чиновники видели здесь возможность заработать состояние и добиться признания. Поэтому до середины 20-х годов поляки в Сибири активно участвовали в экономических изменениях края. Они строили мосты и железные дороги, искали, открывали полезные ископаемые, управляли землей, основывали торговые предприятия, строили школы. Польские переселенцы были чиновниками, учителями, владели процветающими сельскохозяйственными угодьями, мельницами, лесопилками, кузницами и ремесленными мастерскими, а некоторые местные земледельцы, как, например, в Томске или Иркутске явно оказывали влияние на жизнь этих городов. У поляков в Сибири были свои костелы, школы, общественно-культурные учреждения, чаще всего именовавшиеся Польскими Домами.

Сибирь была и местом, где наживались большие состояния. Это второе Эльдorado давало возможность быстрого обогащения, а состояния более предприимчивых людей часто превосходили самые смелые ожидания. В книге Кучинского упоминается об Альфонсе Козель-Поклевском, сибирском предпринимателе, который, например, организовал навигацию по Оби, был владельцем заводов, добывал золото, руду и уголь. Часть своего состояния он предназначал на культурные нужды и для благотворительных организаций.

В середине 20-х годов польская этническая группа подвергалась серьезным репрессиям. Закрывались школы и костелы, многие были расстреляны якобы за шпионаж. Возвращаться на родину было уже поздно; Сибирь при новой советской власти снова стала символом страданий и преследований. Как при царизме само название Сибири вновь вселяло ужас и связывалось с представлением о системе лагерей, в которых гибли сотни тысяч безвинных и безымянных жертв.

Работа Кучинского, как и упомянутые выше исследования других авторов, не исчерпывает проблематики, связанной с жизнью поляков в Сибири. Ее достоинство заключается в осуществлении первых шагов в новом осмыслении и описании этого края, в освещении вопросов, прежде замалчивавшихся. Возникает вопрос, почему так мало говорится о Сибири как о месте

встречи многих культур, диалога многочисленных языков, способов восприятия и ощущения мира. Анализируя современные работы, посвященные этой земле, можно заметить, что русская сторона склонна вообще обойти молчанием культурный и экономический вклад поляков в развитие Сибири. Поляки же, в свою очередь, акцентируют исключительно репрессивный характер сибирской жизни, почти как к изменникам относясь к тем, у кого отличный опыт. Вместе с тем, воспоминания ссыльных показывают, что жизнь в Сибири, наряду с несомненными трудностями и часто невыразимыми страданиями, может представлять собой школу диалога для наших народов. Присутствие польского ссыльного (осужденного за политическое действие) в доме крестьянина, горожанина и даже высшего офицерского чина никого не удивляло. В опубликованном Кучинским фрагменте воспоминаний В. Мигурского можно прочитать: «Местная власть определила меня в ряды солдат, ни в чем не препятствовала, более того, старалась облегчить мое положение, не обременяя меня службой» [5. С. 156].

В эпоху сталинских репрессий о подобных ситуациях не могло быть и речи.

Книга Кучинского ценна для всех тех, кого интересуют условия жизни в Сибири в обществе с гетерогенной культурой, в котором пришлось жить людям с различными взглядами, религией, языком.

Зволян А.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ludy dalekie a bliskie. Antologia polskich relacji o ludach Syberii.* Wyb. i kom. A. Kuczyński. Wrocław, 1989. S. 300.
2. *Trojanowiczowa Z.* Sybir romantyków. Kraków, 1992, S. 603.
3. *Kaczyńska E.* Syberia: największe więzienie świata (1815—1914). Warszawa, 1991. S. 385.
4. *Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815—1914.* Red. A. Brus, E. Kaczyńska, W. Sliwowska. Warszawa, 1992, S. 438.
5. *Kuczyński A.* Syberia. Czteryście lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa. Wrocław. 1993.

С. В. СМЕРНОВ. *Очерк истории славяноведения в России.* *Учебное пособие.* Таллинн, 1993. 171 с.

Книга профессора С. В. Смирнова является очерком истории славянского языкознания в дореволюционной России, а в некоторых своих разделах — преимущественно истории русского языкознания. Она состоит из введения, 13 небольших глав и охватывает период с конца XVIII в. до начала XX в.

В очень кратком введении автор дает современное определение славяноведения как комплекса «взаимосвязанных самостоятельных научных дисциплин, каждая из которых одновременно является частью соответствующей науки, использует те же методики исследования, выводы и обобщения» (С. 3). Автор не уточняет, как и когда сложилась подобная практика, какие этапы прошло в своем становлении и развитии славяноведение в различных славянских странах, и в частности в России. Обоснование избранной периодизации помогло бы, на наш взгляд, более точно определить место языкознания в комплексе славянистических дисциплин на протяжении всего рассматриваемого периода. Хорошо бы также охарактеризовать во введении специальную литера-

туру, касающуюся как становления славяноведения в России в целом, так и основных этапов развития славистики в славянских и неславянских странах.

В первой главе («Зарождение грамматической мысли на Руси» (XVI — начало XVIII в.)) рассматривается ряд известных грамматик и букварей, в том числе Ивана Федорова, Лаврентия Зизания, Мелетия Смотрицкого, отмечается развитие грамматической мысли, в основном направленной на практические цели: оформление грамматической терминологии, определение частей речи, уточнение значения ряда слов (при переводах) и пр. В XV—XVII вв. на Руси, как пишет автор, совершалась огромная подготовительная работа по накоплению материала для создания исторической грамматики русского языка, а с XVII в. уже отчетливо проявляется интерес к другим славянским народам и их языкам, нашедший отражение в некоторых азбучниках и лексиконах. В это время усиливается внимание книжников и к церковнославянскому языку.

Во второй главе («Ломоносовский период в

русском языкознании») автор коротко останавливается на языковой ситуации этого времени в России, для которой были характерны разрушение системы средневекового двуязычия, распад книжного церковнославянского языка, неупорядоченное сосуществование старых и новых грамматических форм и др. В этой же главе дается сжатая характеристика «Российской грамматики» М. В. Ломоносова (1757), положившей «начало ломоносовскому периоду русской грамматической мысли, завершением которого явилась „Русская грамматика“ А. Х. Востокова» (С. 11). Однако тема «Ломоносов и славянские языки» раскрыта недостаточно полно, хотя и говорится об интересе ученого к проблемам родства славянских и индоевропейских языков, классификации славянских языков и т. д. К этому же начальному периоду формирования русско-славянских исследований относится и материал третьей главы («Философские грамматики в России (первая половина XIX века)»), трактующей о роли философских грамматик и попытках создания в России универсальной грамматической системы на основе законов логики (изложение общих черт грамматик Н. Язвицкого, Н. Орнатовского, И. Тимковского, Л.-Г. Якоба, Н. И. Греча, К. Беккера).

Следующий этап развития русско-славянского языкознания в России связан с именем А. Х. Востокова и деятельностью Румянцевского кружка (глава четвертая — «Румянцевский кружок»). Автор справедливо говорит о большой роли ученых этого кружка в выявлении, описании и издании памятников русской и славянской письменности. Благодаря их работе расширилась источниковая база славяноведения, изменились само отношение к источникам, методы работы с ними; от простого изложения источника наука переходит к критическому и сравнительному его исследованию, анализу текста. Благодаря работам К. Ф. Калайдовича в научный оборот введены такие древние памятники, как Изборник 1073 г., труды Иоанна экзарха болгарского. Исследования П. М. Строева, Е. А. Болховитинова, И. И. Григоровича и других ученых заложили основы научной разработки церковнославянского и древнерусского языков, кирилло-мефодиевской проблематики, славянской археографии и палеографии. В этой главе автор использует такую емкую и эффективную форму изложения материала как краткий научно-биографический очерк, построенный по принципу словарной статьи: минимум биографических сведений об ученом, основные научные интересы, вклад в науку, особенности научного метода. (В некоторых главах подобный метод изложения материала становится основным.) Здесь же автор обращается к романтизму как

эпохе европейской духовной культуры конца XVIII — середины XIX в. и характерному для нее обостренному вниманию к древностям, памятникам письменности, к национальной истории и языку. То же наблюдалось и в России, что отражало формирование исторического сознания русской нации в атмосфере роста патриотических настроений этого времени, стремление осознать свое место в ряду других народов, в первую очередь славянских. Однако процессы, происходившие в общественно-политической и культурной жизни Западной Европы и России были очень сложны и многообразны, но не синхронны, и требуют более детальной характеристики, чем это сделано в данном разделе. Материал можно было бы дополнить библиографией, как и в других главах.

Глава пятая («А. Х. Востоков как основоположник сравнительно-исторического языкознания в России») посвящена вкладу А. Х. Востокова в формирование сравнительно-исторического метода в языкознании. На 11 страницах автору удалось очень емко изложить взгляды Востокова на языковое родство, историческое развитие языка, классификацию славянских языков и дать характеристику такого важного его труда, как «Рассуждение о славянском языке» (1820). В нем было положено начало разработки сравнительно-исторического метода в русском языкознании, определена основа старославянского языка и его основные черты, старославянский отделен от древнерусского и праславянского (С. 30—31). Обращается внимание и на работу Востокова с памятниками, его научные принципы и методику описания рукописей (например, при издании Остромирова Евангелия). Большой вклад был сделан Востоковым в изучение грамматики русского языка (фонетика, грамматика, синтаксис). Очерк научной деятельности удачно дополнен биографическими сведениями.

В шестой главе («Сравнительно-историческое изучение русского языка в первой половине XIX в.») автор отмечает первые опыты сравнительно-исторических исследований, от Востокова до Г. П. Павского, в книге которого «Филологические наблюдения над составом русского языка» (1841—1842) освещение истории русского языка дается уже «с позиций индоевропейского сравнительного языкознания» (С. 43). Работы Ф. И. Буслаева и И. И. Срезневского довершили поворот русского языкознания «в сторону исторического изучения» (С. 45). В труде Срезневского «Мысли об истории русского языка» (1849) получает обоснование один из постулатов ученых-славистов середины XIX в., утверждающий, что «народ и язык существуют нераздельно, народ полнее всего и вер-

нее выражает себя в своем языке. Изменяются народы, изменяются и их языки. Наука должна исследовать, как и по какому пути идет изменение языка, и тем самым выяснить законы его развития. Такая наука может быть только исторической» (С. 45—46). Работа Срезневского оказала большое влияние на дальнейшее направление сравнительно-исторических исследований русского и других славянских языков в России, была воспринята как своего рода программа. С. В. Смирнов останавливается также на работах П. А. Лавровского по истории русского языка, в том числе на проблеме русского полногласия, с давних пор интересовавшей ученых как в России, так и за рубежом, и на работах по кирилло-мефодиевской проблематике.

Подводя итоги развития языкознания на этом этапе, автор делает следующие выводы: сравнительно-историческое языкознание в России в первой половине XIX в. достигло значительных успехов, были заложены научные основы исторического изучения старославянского языка, ученые подошли к пониманию его значения как исторического источника изучения славянских языков. Достижения в изучении русского языка способствовали становлению славистики и наоборот. В это же время комплексный подход к изучению славистических проблем все более начинает приобретать черты специализации, в славистических исследованиях усиливается дифференциация.

Глава седьмая («Становление славяноведения в России в первой половине XIX века») вновь возвращает читателя к периоду конца XVIII — начала XIX в., но уже с точки зрения становления славяноведения в России в первой половине XIX в. Раньше, чем у других славянских народов, славяноведение как отдельная область научного знания начало оформляться в Чехии (где в конце XVIII — начале XIX в. идет формирование чешской нации) со всем комплексом проблем, как национальных, так и общеславянских (язык, история, литература, памятники письменности, проблемы этногенеза славян и др.). Подобные же процессы были характерны и для поляков, сербов, хорватов, лужичан, болгар, словаков. Не случайно в этот период и распространение идеи «славянской взаимности» среди большинства славянских народов. Однако насколько различны были условия общественно-политической, экономической и культурной жизни славян этого периода, настолько, кроме общих черт, существовали и особенности в становлении и путях развития славистики в каждой славянской стране, различались национальные программы славянских народов.

В России, пишет С. В. Смирнов, интерес к славянству первоначально вырос на базе изучения

старославянского/церковнославянского языков памятников южнославянской старины, древнерусской истории, усилившихся на фоне общественного внимания к русско-турецким войнам и освободительной борьбе сербского и болгарского народов начала XIX в. Автор останавливается на деятельности М. Т. Каченовского, П. И. Кеппена, М. П. Погодина. Наибольшее же внимание уделено О. М. Бодянскому, П. И. Прейсу, И. И. Срезневскому и В. В. Григоровичу, которые вслед за П. И. Кеппеном открыли для русской науки новый мир в ходе своих путешествий в славянские земли. Становление славяноведения в России происходит в этот период в тесной связи с развитием славистики в славянских странах.

В седьмой главе книги автор намечает следующие этапы развития славяноведения этого большого периода: деятельность кружка Н. П. Румянцева и появление научных исследований по славистике, первое поколение славистов (Срезневский, Григорович, Прейс, Бодянский) и их вклад в окончательное оформление славяноведения в самостоятельный комплекс научных дисциплин, включение российской славистики в европейскую науку. Весь период автор называет «первым, народно-романтическим, периодом в истории русского славяноведения» (С. 82). Это, на наш взгляд, все же слишком общая характеристика такого сложного и длительного периода. Больше внимание к его внутренней периодизации дало бы возможность при минимуме текста более конкретно и четко характеризовать особенности каждого этапа внутри данного периода. Например, к числу особенностей развития славяноведения в первой трети XIX в. можно отнести тесное взаимодействие славянской и русской проблематики, когда отечественная проблематика еще не отделяется от исследований о зарубежных славянах, а славистика формируется как часть русистики. Синкретизм, свойственный периоду становления науки, метод широкого, комплексного подхода к изучению славянства привели к тому, что вопросами истории, этнографии, языка и литературы славян часто занимались одни и те же ученые. К концу 30-х — началу 40-х годов XIX в. можно уже наблюдать вычленение славяноведения как отдельной области знания из филологической и исторической русистики, что было связано с расширением и определением славянской проблематики, разработкой и овладением новыми методами и принципами в решении научных задач (историческая и филологическая критика текста источников, научное комментирование, лингвопалеографический и сравнительно-исторический анализ и др.), появлением новых направлений и областей исследования (славян-

ская лексикография, археология и этнография, история славянских законодательств и пр.). Образование славистических кафедр в университетах (1835) завершило этот этап формирования славяноведения в России, начавшийся в конце XVIII в. Деятельность первого поколения славистов¹ (1840—1870-е годы) приобретает новые черты, и с их работами в значительной степени связано развитие идей романтизма в российской славистике.

Главы 8—12 книги С. В. Смирнова построены в основном как учебно-биографические очерки, посвященные деятельности отдельных славистов. Особенности развития русского и славянского языкознания автор стремится определить через вклад каждого из этих ученых в науку. Так, в восьмой главе («Ф. И. Буслаев») подчеркиваются роль ученого в разработке методов преподавания и изучения исторической грамматики русского языка (Шахматов назвал его основателем исторического изучения русского языка) (С. 85), его участие в формировании русской мифологической школы и т. д. Среди учеников Буслаева автор называет такие имена, как А. Н. Веселовский, Ф. Е. Корш, А. И. Соболевский.

Новые достижения в развитии русского языкознания автор связывает с деятельностью А. А. Потебни (глава девять — «А. А. Потебня»). Излагаются основные положения его грамматического учения, отмечается новое в разработке теоретических проблем общего языкознания, сравнительно-исторического изучения родственных языков, славянской диалектологии (Потебня «впервые дал характеристику диалектов и их классификацию на широких сравнительно-исторических началах» (С. 95)).

Московская лингвистическая школа получила характеристику в книге через работы Ф. Ф. Фортунатова (глава десятая — «Московская лингвистическая школа (Ф. Ф. Фортунатов)»). Премущественное внимание уделено роли этого ученого в формировании индоевропейского и славянского языкознания. И «хотя Фортунатов не был славистом в прямом смысле этого слова, — пишет автор, — однако он наиболее полно и глубоко применил новые идеи к данным праславянского и старославянского языков» (С. 110).

Видным представителем московской лингвистической школы был А. А. Шахматов. Ему посвящен один из лучших очерков в учебнике С. В. Смирнова (одиннадцатая глава). Значение Шахматова в русской науке очень велико. В центре его научных интересов находились такие

проблемы, как прародина славян и возникновение славянских языков, происхождение и развитие восточнославянских народностей и их языков, роль церковнославянского языка в истории русского литературного языка, изучение и издание письменных памятников, палеографическое, историческое и текстологическое изучение русских летописей. Автор дает краткую характеристику гипотез Шахматова о происхождении, первоначальном расселении, передвижениях славян, языковых влияниях, отмечает его расхождения с мнениями ряда других ученых (С. 124). Более подробно излагаются в книге взгляды Шахматова по ряду теоретических проблем русской грамматики, современного русского языка.

О вкладе казанской лингвистической школы в русистику и славистику говорится в очерке об Бодуэне де Куртене (глава двенадцать). Автор останавливается на основных научных принципах этой школы или кружка, сложившегося вокруг Бодуэна де Куртене (Н. В. Крушевский, В. А. Богородицкий, С. К. Булич, А. И. Александров) (С. 132—133). Кроме Казани, Бодуэн читал лекции в Дерпте (Тарту), Варшаве, Петербурге. В столице вокруг него также возник кружок ученых, разделявших его взгляды (Л. В. Шерба, М. Фасмер, Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский и др.). Основное место среди работ Бодуэна занимают труды по общему, индоевропейскому и славянскому сравнительно-историческому языкознанию, классическим языкам, славянской диалектологии. Автор дает краткое изложение лингвистической концепции Бодуэна, отмечая его критику взглядов А. Шлейхера на язык как самодовлеющий организм, борьбу с натурализмом в языкознании, признание им языка индивидуальным и социальным явлением, понимание языка как системы (С. 135—136).

Завершающая тринадцатая глава книги посвящена деятельности русских славистов во второй половине XIX в. и в начале XX в. В центре их исследований — язык, история, литература зарубежных славянских народов. Уровень решения научных проблем в это время требовал серьезной подготовки и глубоких знаний «за пределами славяноведения, особенно в области сравнительной грамматики индоевропейских языков» (С. 144). Специализация и дифференциация внутри славистического комплекса научных дисциплин в это время значительно усиливается. Быть специалистом одновременно по истории, литературе, языку становится затруднительным. Однако многие из русских славистов продолжают работать

¹ Нам кажется, что к первому поколению славистов в России можно было бы отнести А. Х. Востокова и ученых Румянцевского кружка. — М. И.

в различных областях славистики, и их интересы далеко выходят за рамки только языкознания. Среди них — А. Ф. Гильфердинг, П. А. Бессонов, В. И. Ламанский, А. С. Будилович, Т. Д. Флоринский. Исключительная роль в развитии славистики не только в России, но и в европейской науке принадлежит В. Ягичу. Им написан ряд работ, которые можно назвать итоговыми, как бы завершающими один из значительных периодов в развитии мировой славистики. Среди них — «История возникновения церковнославянского языка» (1901), «История славянской филологии» (1910), «Глаголическое письмо» (1911) и некоторые другие.

В целом, книга С. В. Смирнова — успешный опыт создания учебника по истории славянского языкознания в дореволюционной России с преимущественным вниманием к проблемам русистики, как это и было заявлено во введении.

Четкость, ясность и емкость изложения дали возможность автору уместить в столь небольшом объеме огромный материал. Учебник будет интересен не только преподавателям и учащимся вузов, но и ученым, занимающимся историей славяноведения в России.

В дальнейшем было бы целесообразно при переиздании учебника расширить справочный аппарат, дать больше ссылок на ряд ключевых работ, касающихся проблем периодизации истории славяноведения в славянских и неславянских странах, этапов развития русского и славянского языкознания, возникновения и распространения идей славянской общности, оказавших значительное влияние на становление славистических исследований (как филологических, так и исторических) в различных странах.

Никулина М. В.



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОЛЬША И ЕВРОПА В XVIII в. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ РАЗДЕЛОВ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ»

Международная научная конференция, посвященная истории последнего столетия самостоятельного существования шляхетской республики Польши и Литвы, прошла 22—23 июня 1994 г. в Москве в Институте славяноведения и балканистики РАН. В ее работе приняли участие ученые Белоруссии, Украины, Германии, Польши и России.

Во вступительном слове председателя оргкомитета С. М. Фалькович (Москва) и в приветствии В. А. Хорева (Москва) было отмечено, что научная конференция, проводимая накануне двухсотлетия трагического рубежа в истории польского народа, когда в 1795 г. в результате третьего раздела Польша более чем на столетие утратила национальную государственность, представляет собой заметное событие в научной жизни России. Его значение возрастает еще и потому, что никогда прежде историки нашей страны не проводили научных собраний, посвященных данной проблеме. К этой мысли не раз обращались участники конференции, выражая мнение, что настало время новых исследований и широкой международной научной дискуссии по проблемам истории XVIII в., особенно в области международных отношений, исследования внутренних и международных факторов упадка и разделов Речи Посполитой. В. А. Хорев подчеркнул особую роль комплексного изучения политической и культурной истории народов, в ходе которого можно будет осветить взаимодействие их образа жизни и образа мысли, показать преломление истории в национальном сознании и культуре.

В ходе работы конференции ее участники рассмотрели и обсудили проблемы истории международных отношений в Европе в XVIII в. и место в них «польского вопроса» (доклады Т. М. Исламова (Москва), М. Шульце-Весселя (Берлин),

Л. Конджели (Варшава), Ю. Е. Ивонина (Запорожье), М. Г. Мюллера (Флоренция)). В частности, в докладе Т. М. Исламова «Австрия и разделы Польши» был поставлен вопрос о геополитическом факторе в международном положении Речи Посполитой, Т. М. Исламов и В. А. Дьяков (Москва) вместе с тем отмечали, что только расположением Польши между Австрией, Пруссией и Россией едва ли можно объяснить развитие международной ситуации в Центральной Европе, приведшее к разделам Польши. Подчеркивалась необходимость более глубокого исследования взаимосвязей между польской политикой великих держав и османским вопросом, усилиями Франции по созданию так называемого восточного барьера, стремлением Англии укрепить свои позиции в континентальной Европе и в борьбе с Францией, вплоть до создания почвы для интервенции во Францию в годы революции. В докладах и дискуссии звучала мысль о единстве системы международных отношений в Европе в XVIII в. при сохранении региональных коалиций и образовании союзнических систем типа Фамильного пакта или Северного аккорда. Кризисы международных отношений, следовательно, не могли не затронуть практически все европейские страны, а одним из способов их разрешения стали разделы Польши. При разделах, отметил М. Г. Мюллер, присутствовала определенная иерархия факторов: непосредственные интересы держав — участниц разделов сочетались с интересами других стран, стремившихся использовать ситуацию для достижения своих целей, например, противостояния революционной Франции.

Объективно сформировавшейся системе международных отношений в Европе соответствовал постепенный процесс осознания политическими деятелями этих связей, который выразился в ра-

ционалистической идее европейского и регионального равновесия. Причем это осознание происходило с начала XVIII в. не только на западе, но и в центре и на востоке Европы. Этой теме был посвящен доклад М. Шульце-Весселя о роли «польского вопроса» в системе союзов А. И. Остермана. В частности, докладчик отмечал, что Россия стремилась проводить активную политику в Польше, поддерживая политическое равновесие в Центральной Европе и на Балтике. При этом А. И. Остерман допускал участие Швеции в польской политике России. Он, как и его политические оппоненты, исходил из принципа регионального и европейского равновесия и допускал использование протектората над Польшей как средства его поддержания.

Однако рационалистические, нередко сугубо умозрительные системы внешней политики европейских держав, постоянно корректировались реальной политической практикой, конкретными интересами и целями. На это, в частности, указал в ходе дискуссии В. А. Дьяков, подчеркнув фактор взаимообусловленности внутренней и внешней политики. Взаимодействие внутри- и внешнеполитических факторов разделов Речи Посполитой стало одной из главных мыслей, объединивших доклады С. М. Фалькович, З. Зелиньской (Варшава), Л. Конджели, Б. В. Носова (Москва). При этом основное внимание докладчиков было сосредоточено на взаимоотношениях Польши и России, та же направленность преобладала и в дискуссии. Такой интерес вполне понятен. С одной стороны, он объясняется ключевой ролью, которую сыграла Россия в судьбе Польши в XVIII в. и вместе с тем весьма существенным обратным влиянием ситуации в Польше на внутреннее и международное положение России. С другой стороны, это связано с особой ролью источников русского происхождения и других материалов, хранящихся в российских архивах, которые в последнее время стали доступными для исследователей, материалов, которые, благодаря, пока, к сожалению, немногим научным трудам и публикациям документов, начинают вводиться в научный оборот.

Одной из проблем, почти не затронутых историографией, был посвящен доклад З. Зелиньской, которая рассматривала вопрос о проекте русско-польского союза в начале правления Станислава-Августа, отметив, что российская историография не уделила ему внимания, в отличие от вопроса о реформах и гарантии государственного строя Речи Посполитой. По мнению докладчика, различие в подходе поляков и русских к союзу в 1760-е годы состояло в том, что в Польше надеялись на союз с Россией для проведения

реформ, в то время как в России несогласие с реформами означало несогласие с союзом. Н. И. Панин стремился использовать заинтересованность в союзе Станислава-Августа, выразителем взглядов которого был польский представитель в Петербурге Ф. Ржевуский, для давления как на Польшу, так и на Пруссии, но, видимо, не собиравшись вести всерьез дело заключения союза.

Проблеме взаимодействия внутренних и внешнеполитических факторов во взаимоотношениях России и Польши в 60-е годы XVIII в. был посвящен доклад Б. В. Носова, который обратился к теме политики России в так называемом диссидентском вопросе. Для России он приобретает особое значение, начиная с 1765 г. В докладе делается вывод о том, что стратегическая линия России была направлена на постепенное включение Польши в состав империи, первыми шагами к чему должны были служить: личная уния короля с Россией, российский контроль над сеймиками и сеймом, гарантия государственного строя Речи Посполитой и, наконец, образование стабильной прорусской партии. Несостоятельность этой политики и отход от нее обнаружился уже в начале восстания Барской конфедерации.

В ходе обсуждения докладов, посвященных международным и внутренним аспектам положения Речи Посполитой в 60-е годы XVIII в., не раз отмечалось, что предпосылки разделов складывались с начала XVIII в. и окончательно оформились в 1740—1760-е годы, подчеркивалось, что «саский период» не менее, чем станиславская эпоха, заслуживает изучения с этой точки зрения. Был также поднят вопрос о том, можно ли рассматривать второй и третий разделы Польши как простое продолжение первого или же наличие общих черт, «общей схемы» не означает их сущностной идентичности? Как бы косвенным ответом стало то, что именно обсуждение проблем международного положения Речи Посполитой 80—90-е годы XVIII ст. заняло на конференции наиболее значительное место.

Вопросы взаимодействия внутренней и внешней политики России и Польши были поставлены в докладе Л. Конджели «Россия и второй раздел Польши». Ученый остановился на историографических проблемах истории второго раздела и вытекающих из них исследовательских задачах. Докладчик подчеркнул внутреннюю противоречивость как российской, так и польской политики в отношении друг друга. Он даже говорил о «двух линиях» в политике правящих кругов России в отношении Польши и одновременно указывал на противоречивое отношение различных группиро-

вок польской шляхты и поколений магнатов к России. Эта внутренняя противоречивость ставит, по словам докладчика, перед исследователями задачу более детального изучения польско-российских отношений 80—90-е годы XVIII в., выявления новых источников и подготовки монографии, посвященной истории второго раздела Польши, которая бы соответствовала современному уровню развития науки.

Вопрос о диалектической взаимосвязи внутренних и международных факторов польской истории второй половины XVIII в. получил развитие в докладе С. М. Фалькович «Конституция 3 мая 1791 г. и разделы Речи Посполитой». Внимание докладчика было направлено преимущественно на анализ последствий реформ Четырехлетнего сейма, существенно изменивших роль Польши в Европе, на преломление идей Конституции 3 мая в сознании польского общества и европейском общественном мнении. Автор показал воздействие политического и интеллектуального импульса, вызванного Конституцией 3 мая, на политику разделов, на углубление противоречия между обретающей новое качество шляхетской республикой и абсолютистскими режимами Европы, а также то, как под воздействием идей Великого сейма закладывались новые политический облик и политические традиции польского общества XIX в.

Особое место на конференции заняла тематика истории восстания под руководством Т. Костюшко. М. Г. Мюллер в докладе «Восстание Костюшко и разделы Польши» отметил, что проблемы взаимосвязи восстания и международных отношений остаются дискуссионными. Среди них, по мнению докладчика, можно выделить два комплекса вопросов: во-первых, было ли восстание решающей причиной третьего раздела или же только одним из его условий, возможно, даже вторичным, во-вторых, это вопрос о «революционном характере» восстания с точки зрения его влияния на систему европейских международных отношений, т. е. было ли восстание попыткой революционной ревизии, вызванной Великой французской революцией? В ходе дискуссии подвергся критике традиционный тезис отечественной историографии о революционной ситуации, сложившейся в Польше во время восстания Т. Костюшко. В связи с этим отмечалось, что исследование социальной природы различных народных выступлений в Польше в 1792—1795 гг. сохраняет свое значение.

Восстанию под руководством Т. Костюшко был также посвящен доклад Г. В. Макаровой (Москва), которая сосредоточила внимание на вопросе о пребывании участников движения в России. В

докладе приведен богатый, ранее не публиковавшийся конкретный материал, отражающий условия конвоирования, маршруты следования, содержание в заключении и под надзором, контакты с товарищами по плену и с родиной и т. д. Всего в списках, присланных из всех российских губерний и наместничеств, содержится более тысячи имен участников движения, оказавшихся в России. Доклад еще раз продемонстрировал возможности российских архивов с точки зрения выявления новых, до сих пор неизvestных источников по истории эпохи разделов Речи Посполитой.

Историко-культурной проблематике были посвящены доклады А. В. Липатова (Москва) «Шляхетская демократия эпохи Просвещения: национальная ментальность, культурно-государственная традиция и историческая необходимость» и М. Мыцельского (Варшава) «Традиции польского парламентаризма в эпоху Княжества Варшавского и Королевства Польского 1807—1830 гг.». Шляхетская республика Польши и Литвы, окончательно оформившаяся в начале XVII в., представляла собой в XVIII ст. чрезвычайно своеобразное, если не сказать уникальное, государство в Европе. В связи с этим проблемы развития республиканской государственности в эпоху Просвещения не только интересны сами по себе, но и весьма важны в плане изучения политического и идеологического противостояния абсолютизма и дворянского республиканизма, особенно в то время, когда идеи народовластия начали прокладывать себе дорогу в Европе и воплотились в революции во Франции, когда одним из мотивов политики разделов стала задача ликвидации очага «якобинства» в Центральной Европе. Именно это противостояние в сфере общественного сознания было рассмотрено в докладе А. В. Липатова, прежде всего в плане исследования отражения в сознании поляков и русских взаимоотношений дворянства и государства, противопоставления сознания шляхетской «золотой вольности» и ментальности подданства в абсолютистских монархиях.

В докладе М. Мыцельского было показано, как эпоха разделов Польши отразилась на сеймовом строе Княжества Варшавского и Королевства Польского, на организации польского парламентаризма. Отметим, что данная тема является совершенно новой для отечественной полонистики. Как показал докладчик, в это время с политической арены Польши уже сошли старшляхетские группировки и деятели Тарговицы. Политические позиции в Герцогстве Варшавском из политиков станиславовского времени сохранили лишь деятели Великого сейма. Под воздействием политических концепций эпохи Просвещения из

польского государственного уклада уходят не только архаические традиции и атрибуты, но и отжившие свой век политические институты, как, например, право конфедерации. В докладе показано, как постепенно в Польше утверждались элементы политического строя и политической культуры Нового времени, которые, правда, в

рассматриваемый период не вышли еще за рамки сословной «шляхетской демократии».

В 1995 г. Институт славяноведения и балканистики РАН планирует издать по материалам конференции сборник статей.

Носов Б. В.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛАВИСТОВ В ЛЮБЛИНЕ

С 24 по 26 ноября 1993 г. в Люблинском университете им. М. Складовской-Кюри состоялась V Международная славистическая конференция, в которой приняли участие ученые из Белоруссии, Болгарии, Германии, Польши, России, Словакии, Франции, Чехии и Украины.

Международные встречи славистов в Люблине по инициативе кафедры славянского языкознания (заведующий — проф. С. Вархол) проводятся в 1985 г. прошедшие четыре конференции были посвящены таким вопросам, как гибридные формации в славянских языках, славянские смешанные и переходные говоры (см. [1]), ономастические системы в славянских языках и диалектах. Материалы конференций регулярно публикуются в университетском издании «Prace Slawistyczne». Программа V конференции, приуроченной к 30-летию юбилею славистики и русистики в Люблинском университете, включала лингвистическую и литературоведческую проблематику.

В докладах лингвистической секции обсуждались зоонимические системы в славянских языках. В течение трех дней было прослушано 30 докладов по различным аспектам предложенной тематики.

В докладе С. Варлоха (Люблин) были представлены результаты работы над вопросником для исследования современной и исторической зоонимии в народных говорах. Вопросник содержит более 50 тыс. зоонимических единиц, трактуемых как часть ономастической системы. Подчеркивалась генетическая связь между зоонимами и топонимами, между зоонимами и антропонимами. В производных зоонимах представлены суффиксальные формации (например, *Krasula*) и отсутствуют, в отличие от топонимов и антропонимов, двучленные образования (типа *Grodzislaw*). Учет сопоставительно-типологического аспекта позволяет выделить в славянской зоонимии три зоны: южную, восточную и западную. В то же время

ряд особенностей противопоставляет северный ареал южному.

Большой интерес вызвал доклад Р. Мрузека (Чешин), в котором предлагается различать три уровня (номинации, прономиниации и постноминиации), зоонимы трактуются как часть проприальной системы и даже как часть антропонимики. Р. Мрузек противопоставляет правила, определяющие внутреннюю структуру систем имен собственных (в частности, совокупность формально-языковых средств), правилам, определяемым социально-коммуникативным контекстом (официальность — неофициальность системы номинации, отношение к макросфере или микросфере контактов).

Ряд докладов был посвящен польской диалектной зоонимии (включая территорию славянско-балтийского и польско-восточнославянского пограничья). Так, Н. Е. Ананьева (Москва) проанализировала зоонимическую систему польских говоров балто-славянского пограничья, характеризуя в ней парадигматические и синтагматические отношения, выделяя ее центральные и периферийные элементы, учитывая первичную и вторичную функцию зоонимов и определяя истоки несоответствий с общепольскими лексемами (например, кличка коровы *Marguta* восходит к литовскому *mārgas* пестрый). М. Саевич (Люблин) установил общность способов номинации зоонимов в контактирующих белорусских и польских говорах на Белосточчине (например, наименования коров и собак по их масти), а Л. Зенкевич (Люблин) — в польском и украинском говоре дер. Дратово (окрестности Ленчной). Учитывалась мотивация зоонима, даваемая носителями говора (например, *Anglik* — ‘конь с тонкими ногами’).

Словообразовательный аспект в зоонимии находился в центре внимания в выступлении Е. Сероцока (Люблин). На материале (кличек собак, кошек, коров и лошадей), собранном в 30-и

деревнях Люблинщины, рассматривались вопросы соотношения *potep prąprzym* — апеллатив, отношение носителей говора к называнию животного, формальные средства производных формаций (например, *-ul-*, *-k-* для кличек коров: *Ficula*, *Kraciatka*).

В сообщении С. Рудницкого (Житомир) анализировались 86 названий животных, функционирующих в одном из польских «кресовых» говоров Житомирщины. Отмечены некоторые типичные для юго-восточной разновидности периферийного диалекта «кресовизмы»: формации на *-ontko/-eniko*, называющие детенышей животных, *czereda* 'стадо' и др. Рассматривая клички лошадей в малопольских говорах окрестностей г. Лиманова, З. Цигаль-Крупа (Лилль) делит их по происхождению на образованные от апеллативов (*Kasztan*, *Huragan*), антропонимов (*Basia*, *Waśka*) и топонимов (самая немногочисленная группа).

Об изучении зоонимии как составной части диалектологического исследования говорил Ф. Чижевский (Люблин). Он предложил осуществлять сбор диалектного зоонимического материала по тем же принципам, что и сбор других собственных имен. Диалектный зоонимический материал белорусского языка (говоров Посожья) приводился в докладе И. Я. Яшкина (Минск). Об источниках словаря украинских говоров, работа над которым осуществляется на кафедре славянской филологии Киевского университета, рассказала Т. Марусенко (Киев). Н. Перчинская (Варшава) привела примеры эвфемистических названий животных, функционирующих в русских говорах.

Результаты взаимодействия неславянских языков со славянскими были предметом двух докладов: В. Будишевская (Варшава) проанализировала славянские названия животных (пресноводных рыб, насекомых и др.), представленные в румынском языке (например, *gunda* гусеница), а М. Опелова (Острава) сообщила о словацко-венгерских контактах в области зоонимии.

М. Майтан (Братислава) исследовал номинационные типы 270 названий коров, характерных для Тренчина. В основе номинации лежат такие признаки, как масть, день и время отела и др. (ср. *Sobona*, *Nocula*).

Два доклада касались отражения зоонимов в словарях. У. Кенсикова (Гданьск) выявила 354 примарных и производных зоонима в «Словаре польских говоров» Я. Карловича (преобладали клички собак и лошадей). Л. Селимский (Велико Тырново) исследовал 39 зоонимов в словаре Н. Герова. Оба докладчика отмечали трудность

установления границы между апеллативом и *potep prąprzym*.

В ряде докладов на материале разных славянских языков анализировалась ономастическая лексика, мотивированная названиями животных (топонимы, ойконимы, антропонимы) (Г. Бояджиев (София) «Зоонимы в болгарской топонимии», П. А. Михайлов (Минск) «Некоторые особенности образования отзоонимических белорусских ойконимов», А. К. Устинович (Минск) «Антропонимы зоонимической мотивации в белорусском языке», С. Брезинский (София) «Вторичные антропонимические названия от наименований животных»). Доклад Т. Балканского (София) был посвящен этнонимам, мотивированным зоонимами, в болгарской ономастике. На материале двух западнославянских языков — дрешепольского (А. Чеслова, Краков) и лужицкого (Т. Левашкевич, Познань) — были сформулированы сходные выводы: наибольшее число фамилий или прозвищ мотивируется семантическим полем названия птиц.

Зоонимы, функционирующие в городской среде (главным образом клички собак), рассматривались в докладах Я. Струтынского (Краков), Ю. Бубака (Краков) и Е. Обары (Вроцлав). Я. Струтынский предложил классификацию материала, содержащего 14 тыс. единиц. Мотивированные зоонимы делятся на пассивно и активно мотивированные, среди первых, в частности, различаются мотивированные собственными именами (животных и людей, мифологическими персонажами и топонимами, и др.) и апеллативами (возникшими вследствие ассоциации с предметом — *Kogal*, в силу семейной традиции, по профессии хозяина — *Leks* — у хозяина-юриста и др.). Ю. Бубак представил материал из картотеки польского союза кинологов, сознательно избегающей обобщенной классификации зоонимов. В докладе подчеркивалось, что наиболее характерными для кличек собак являются двусложные структуры на *-i* (типа *Emi*). Е. Обара охарактеризовал соответствующую лексику, функционирующую у жителей Вроцлава.

Материал художественной литературы послужил источником для докладов С. М. Прохоровой (Минск) и Ч. Косыля (Люблин). С. М. Прохорова проследила текстообразующую роль заглавий-зоонимов четырех «прецедентных» (термин Ю. Н. Караулова) произведений русской литературы: «Холстомер» Л. Н. Толстого, «Белолобый» и «Каштанка» А. П. Чехова, «Муму» И. С. Тургенева. Ч. Косыль проанализировал клички собак в польской прозе XVI—XX вв. В частности, он установил зависимость способа номинации от породы собаки: императивный характер кличек

охотничьих собак (Wytirwa), уменьшительно-ласкательные формации, называющие комнатных собачек (Mini, Pregelka и т. п.).

Сопоставление польских и русских фразеологизмов, относящихся к области животного мира, было предметом сообщения М. Журек (Кельце).

В ходе дискуссии уточнялось содержание понятия «зооним», которое диалектологи и ономасты толковали неоднозначно (как часть лексической системы или как составной элемент проприальной системы), выявлены отличия ономастического метода от лексико-семантического и этимологического. Одновременно подчеркивалась плодотворность совместных изысканий диалектологов и ономастов при решении интердисциплинарных проблем (в частности, изучении переходной сферы — апеллятивов, еще не вошедших в ономастическую систему), указывалось на необходимость проведения ономастического анализа, предваряющего установление типа номинации, отмечалось воздействие городской культуры на традиционные зоонимические системы, выделялись идентифицирующая, индивидуализирующая и оценочная функции зоонимов, констатировалось проявление в зоонимах эмоционального отношения называющего к объекту номинации и др.

Ананьева Н. Е.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ананьева Н. Е.* О международной конференции по смешанным и переходным диалектам на славянских территориях // Советское славяноведение. 1990. № 2. С. 124—127.

Доклады секции литературоведения были посвящены связям между литературами славянских народов в XIX и XX вв. и затрагивали как общие, так и частные, конкретные вопросы этих взаимосвязей.

А. В. Липатов (Москва) в докладе «Славянские литературы и общеевропейский литературный процесс (история, типология, взаимные связи)», отметив, что славянские литературы являются частью общеевропейской литературной общности, подчеркнул, что закономерности их развития обусловлены внутренней дифференциацией этой общности на византийский и латинский макро-регионы. Специфика каждого из этих макро-регионов предопределила философско-эстетический облик славянских литератур наряду с литературами других народов, входивших соответственно

в тот или иной регион. Взаимодействие двух литературных макро-регионов привело к формированию общеевропейского литературного процесса, начальной стадией которого была эпоха барокко.

В докладе Р. Лужного (Краков) «Польско-восточнославянские научные встречи в изучении истории литературы после 1945 г.» отмечены достижения современного польского литературоведения в исследовании русской, украинской и белорусской литератур и их связей с польским художественным творчеством. В частности, были положительно оценены дважды изданный в Польше коллективный двухтомный труд «История русской литературы» (до 1917 г.) под редакцией проф. М. Якубца, где впервые дается обобщенная характеристика этапов польско-русских литературных связей как часть общего литературного процесса (автор разделов М. Якубец), и учебник «История русской литературы» (до 1917 г.) под редакцией проф. А. Семчука и проф. З. Бараньского. Докладчик отметил также трудности и недостатки в развитии польской литературоведческой русистики, особенно подчеркнув, что пока отсутствуют обобщающие труды о русской литературе после 1917 г.

Центральными в работе литературоведческой секции оказались проблемы польско-русских литературных связей на разных этапах их истории. Я. Орловский проследил мотивы польских исторических легенд в русской поэзии, отметив, что интерес к ним усилился к концу XIX — началу XX в. — на волне активизации идеи славянского единства ввиду угрозы немецкой экспансии. Наряду с известными именами русских писателей (К. Бальмонт, А. Коринфский, Н. Асеев), обращавшихся к польским легендам о королях Попеле и Пясте, о Кракусе и Ванде, о королеве Ядвиге и других, назывались новые имена, приводились новые факты (Мария Моравская, Сергей Михайлов).

Б. Бялокозович (Варшава) в докладе «Мариан Хдзеховский и великие русские» обратился к малоизвестным или забытым фактам деятельности философа и мыслителя, историка литературы и литературного критика, профессора Университета им. Стефана Батория в Вильно Мариана Хдзеховского (1861—1938), его опубликованной недавно в Кракове переписке с Трубецким, отметил его интерес к позднему творчеству Гоголя, к работам А. С. Хомякова, знакомство с В. Соловьевым.

Три доклада были посвящены многообразным связям с русской литературой и русскими писателями Адама Мицкевича. Б. Муха (Лодзь) выявил факты встреч А. Мицкевича с русскими во

время его пребывания в Риме (конец 1829 — август 1831 г.) — З. Волконской, в салоне которой он познакомился с послом в Италии П. П. Гагариным, Ал. Тургеневым, К. Брюлловым, общался с семьей Хлюстиных, Голицыных, А. Соболевским. Э. Пшеходский (Люблин) посвятил свой доклад отношению Ж. Мишле и А. Герцена к концепции Польши и ее будущего в парижских лекциях Мицкевича. Ю. Борсукевич (Люблин) поделился своими размышлениями в области типологических и генетических связей творчества Лермонтова и Мицкевича.

Б. Оляшек (Лодзь) в докладе «Герои романов Ивана Гончарова и Болеслава Пруса. За и против позитивизма» отметила сходные черты некоторых героев романов Гончарова «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» и романа Б. Пруса «Кукла», объясняя это увлечением русских и польских писателей идеями позитивизма.

Об общем и отличном в рассказах Чехова и Владзимежа Пежиньского говорила в своем докладе В. Возняк (Люблин).

В ряде докладов отмечалась активизация польско-русских литературных связей к концу XIX — началу XX в. Э. Лох (Люблин) в докладе «Проблемы русской философии и эстетики в критике периода Молодой Польши» назвала имена В. Спасовича, жившего в России (писал на польском и на русском языках), М. Здзеховского (тоже двуязычного литератора), С. Бжозовского, С. Жеромского, внимание которых привлекали русская философия и литература. В Польше, заметила она, интересовались проблемой «русской души», знали работы В. Соловьева и Д. Мережковского.

М. В. Михайлова (Москва) посвятила свой доклад польским мотивам в творчестве русской писательницы Анны Мар (псевдоним А. Леншиной, 1887—1917). А. Мар увлеклась католическими идеями, называла своих героинь польскими именами (роман «Идущие мимо», рассказ «Бог» и др.), она знала творчество С. Пшибышевского; ее произведения о женской любви критики того времени сопоставляли с прозой этого польского писателя. Анна Мар является автором статьи о Марии Валевской, она отзывалась о произведениях Геприка Сенкевича.

Об импульсах, идущих к русским писателям от польской литературы, продолжила разговор Е. З. Цыбенко (Москва) в докладе «С. Пшибышевский и А. Белый». Произведения «вождя польского модернизма», как называли его русские критики, его драмы и проза были необыкновенно известны в России, А. Белый интересовался творчеством своего современника, познакомился с ним лично во время своего пребывания в Мюнхене в 1906 г., тепло отзывался о нем в своих письмах

В. Брюсову, посвятил польскому писателю интересную статью «Пророк безличия» (1908). Докладчик показала некоторое влияние модернистской прозы Пшибышевского на четвертую часть цикла А. Белого «Симфонии» под названием «Кубок метелей» (1908).

Французский последователь Л. Хеллер (Париж — Лозанна) сопоставил в своем докладе русскую и польскую утопическую литературу начала XX в. Докладчик на большом материале показал историю жанра утопии в русской и западноевропейской литературе XIX—XX вв., проанализировал романы-утопии польских писателей начала XX в. Ежи Жулавского, Феликса Оссеидовского (последний в связи с его книгой 1927 г., отрицательно характеризующей В. И. Ленина, замалчивался и у нас и в Польше). Особенно интересен вывод французского ученого о влиянии романа Ежи Жулавского «На серебряной планете» (1903), хорошо известного в России по многочисленным переводам, на роман Е. Замятина «Мы». До сих пор это произведение среди литературных источников романа Замятина не называлось.

Чешские коллеги поделились изысканиями в области чешско-русских литературных связей. Д. Кшицова (Брно) в докладе «Чешско-русские литературные отношения в период модернизма» рассказала об известности в Чехии конца XIX — начала XX в., кроме произведений русских классиков Тургенева, Достоевского, Л. Толстого, Салтыкова-Щедрина и Гончарова, также Чехова и Горького, в стиле которых чешские критики видели черты модернизма, Д. Мережковского с его трилогией «Христос и антихрист», В. Брюсова, особенно его романа «Огненный апел». Были популярны А. Куприн, И. Бунин, Ф. Сологуб и М. Арцыбашев, роман последнего «Сапун» стал в Чехии настоящим бестселлером. И. Поспишил (Брно) выступил с докладом «Два полюса бытия: англо-американский эмпиризм-прагматизм и „русская тема“ у Карела Чапека». Он отметил вклад в теорию компаративистики таких ученых, как Р. Якобсон и Ф. Вольман. Произведения К. Чапека, заметил И. Поспишил, обычно связывают с творчеством Л. Толстого и Ф. Достоевского. Чешского писателя притягивали оба «полюса культуры»: прагматизм американцев и постановка максималистских вопросов бытия, которые оставила русская литература. Чапек, как и русские писатели, касается «роковых» вопросов. Докладчик считает, что Чапек в некоторых произведениях следует за Достоевским. Правда, в этом случае И. Поспишил предлагает не термин «влияние», а понятие «художественное сцепление».

О русско-болгарских литературных связях на

примере общего и отличного в жанре поэмы (на материале творчества А. С. Пушкина и П. Р. Славейкова) говорила Д. Чавдарова (Шумен). Д. Шимоник (Люблин) в докладе «Космос рода в славянских литературах» дала типологического характера сопоставление русского и болгарского семейного романа начала XX в.

Тема доклада Х. Чайки (Варшава) — «Некоторые проблемы польско-болгарских литературных отношений на рубеже XIX и XX вв.». Говоря о переводах польской литературы в Болгарии, докладчик отметила значение языка-посредника, в частности русского. Интерес к болгарской литературе в Польше активизировался после освобождения Болгарии, особенно большой известностью пользовалось творчество Ивана Вазова, прежде всего его роман «Под игом».

Материал восточнославянских литератур привлекался в докладе Х. Данильчук (Житомир) «Образ Георгия Победоносца в литературе и живописи западных славян».

Достойное место заняли на конференции проблемы украинско-русских и украинско-польских литературных отношений. Польский ученый Л. Микрут (Люблин) в своем докладе «Григорий Данилевский — русский или украинский писатель?», определив Г. Данилевского, выходца с Украины, как русского писателя, поскольку он писал свои произведения на русском языке, высказал предложение ввести понятие «украинская школа» в русской литературе, включив в нее также и Н. В. Гоголя. М. Кавецкая (Люблин) говорила о значении творчества Тургенева для Ивана Нечуи Левицкого.

О польско-украинских литературных отношениях в I половине XIX в. на примере писателей, живших на Волини, говорил В. Ершов (Житомир).

Яркому творчеству Леси Украинки и ее связям с польской литературой посвятила свой доклад Л. И. Мищенко (Львов). Она отметила новаторство украинской писательницы, нетрадиционный подход к жизни, философскую насыщенность ее произведений, новый тип конфликта в них, новые жанровые формы. Л. Украинка знала творчество польских писателей: С. Выспянского, Я. Каспровича, Л. Рыделя и др.

Л. Пушак (Дрогобыч) в докладе «Богдан Лепкий и „Молодая Польша“» отметил значение эстетических идей польского модернизма и творчества писателей «Молодой Польши» для развития модернистского течения в украинской литературе, в частности для поэтов «Молодая муза», наиболее талантливым представителем которой был Б. С. Лепкий. Живя долгое время в Кракове (он остался там как эмигрант и после 1917 г.), Лепкий по-

знакомился там с творчеством своих польских современников. О влиянии эстетической программы польских модернистов на украинскую культуру говорил И. Л. Михайлин (Харьков) в докладе «Теоретическое осмысление „новой драмы“ в литературно-критических концепциях Станислава Пшибышевского и Миколая Вороного».

Сложных моментов в истории польско-украинских отношений коснулся в своем докладе Р. Мних (Дрогобыч) на примере стихотворения польского поэта Яна Лехоня «Серебряный сон Салдомеи» (1953), название которого навеяно драмой под тем же названием Юлиуша Словацкого. Драма польского поэта-романтика посвящена трагическим событиям 1768 г., так называемой «колиивщине», восстанию украинских крестьян против польских панов. Я. Лехонь, размышляя об этих трагических эпизодах, хотел бы видеть дружеские отношения между польским и украинским народами.

О проблемах польско-белорусских литературных связей размышлял С. Ковалев (Минск). Он отметил большой интерес в Белоруссии к изучению взаимодействия культур двух соседних народов, связанных друг с другом исторически. Белорусские исследователи используют понятие «польско-белорусская литература», имея в виду произведения, написанные на польском языке, но белорусами и о Белоруссии. С. Ковалев сослался на высказывания современных польских писателей Ч. Милоша и Т. Конвизкого, которые отметили значение белорусской культуры для Польши.

Творчество белорусских писателей Василя Быкова и Алеся Адамовича привлекалось в докладе И. Шабловской (Синск) на тему «трагический гуманизм Тадеуша Боровского и славянская проза о войне».

Закончилась конференция докладом К. Пруса (Жешув) «К. А. Яворский — популяризатор славянских литератур». Многолетний редактор журнала «Камена» (12 лет с основания журнала в 1933 до 1960 г., с перерывами, когда журнал не выходил), выходящего (и до настоящего времени) в Люблине, К. А. Яворский способствовал распространению среди польских читателей русской, украинской, чешской, словацкой и других славянских литератур, много переводил сам — Н. Языкова, Тютчева, Белого, Ахматову, рассказы К. Чапека, чешских поэтов Незвал и Сейферта, написал около 50 статей о проблемах славянских литератур.

В связи с этим докладом и другими на конференции неоднократно вставал вопрос, а не утопия ли идея славянской взаимности? Современные события реальности идеи славянского единства, казалось бы, не подтверждают. Однако, как

справедливо заметила Д. Кшицова, важно хорошо знать друг друга, тогда и отношения между славянскими народами будут лучше.

Подводящий итоги конференции проф. Я. Орловский отметил, что она подтвердила актуальность и плодотворность научной проблематики, связанной с изучением межславянских литературных связей. Он выразил также удовлетворение тем, что доклады прозвучали почти на всех славянских языках, в том числе на украинском и

белорусском. В качестве возможных тем для будущих славистических конференций Я. Орловский назвал следующие: славянские литературы XX в.; литература и проблемы современного человека (вопросы морали, экологии и т. д.); так называемая «возвращенная литература»; польская эмиграция о русской литературе; писатель и власть.

Цыбенко Е. Э.



75 лет И. И. КОСТЮШКО

31 июля 1994 г. исполнилось 75 лет видному российскому полонисту, доктору исторических наук, профессору Ивану Ивановичу Костюшко. Члены редколлегии и сотрудники редакции нашего журнала с особым чувством присоединяются к поздравлениям в адрес юбиляра, который в течение более двух десятилетий был его главным редактором. Начиная с момента создания журнала в 1965 г. и в течение почти четверти века Иван Иванович прилагал значительные усилия к формированию его облика, направлений в публикации научных материалов, выработке журнальной политики, способствуя завоеванию научного авторитета «Советского славяноведения» как в нашей стране, так и за ее рубежами.

Ученые-слависты хорошо знакомы с научной деятельностью профессора И. И. Костюшко, более 40 лет посвятившего исследованиям в области новой и новейшей истории Польши, советско-польских отношений и проблем аграрного строя в период перехода от феодализма к капитализму, автора более 170 научных публикаций, неизменно основанных на большом фактическом материале.

Научные интересы И. И. Костюшко были связаны в значительной степени с темой аграрных реформ в центральноевропейском регионе. Еще в 1962 г. была опубликована монография ученого, посвященная аграрной реформе 1864 г. в Царстве Польском. В последующие годы И. И. Костюшко провел серию трудоемких статистических и документальных исследований, применительно к реформам земельных отношений в Австрии и Пруссии, результатом которых стала новая монография — «Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период перехода от феодализма к капитализму» (1994). Этот труд явился итогом многолетних изысканий автора, освещающая общие черты и особенности перехода от феодализма к капитализму в сфере земельных отношений рассматриваемого региона, вносит существенный вклад в историографию вопроса (следует отметить, что Иван Иванович во многом являлся и ее зачинателем), содержит интересные теоретические выводы.

В течение многих лет И. И. Костюшко был ответственным редактором отечественной части международной редколлегии многотомного издания «Документы и материалы по истории советско-польских отношений». Развитию отечественной исторической науки в новых условиях также способствует изданный в 1994 г. двухтомный труд «Польско-советская война 1919—1920 гг. (Ранее неопубликованные документы)», в котором И. И. Костюшко является составителем и ответственным редактором.

Большое внимание уделяет И. И. Костюшко и научно-организационной работе, одновременно или последовательно являясь заведующим сектором, членом ученых советов, научных комиссий, оргкомитетов международных съездов славистов. Свидетельством высокого авторитета И. И. Костюшко явилось избрание его президентом Комиссии по историко-славистическим исследованиям при МКИН.

Иван Иванович — ветеран Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями СССР и Польши. Коллеги и многочисленные ученики Ивана Ивановича знают его как неутомимого исследователя, чей творческий потенциал, научная энергия позволяют ожидать от него и в будущем новых творческих достижений.

Коллектив Института славяноведения и балканистики РАН, с которым связано более 40 лет трудовой жизни юбиляра, журнал «Славяноведение», первым и многолетним редактором которого был Иван Иванович, поздравляют его со славным юбилеем, желают ему здоровья, счастья и дальнейших успехов в науке.

CONTENTS

ARTICLES

<i>Lapteva L. P.</i> M. V. Brechkovich as a Representative of Positivism in Russian Slavic Studies in the First Quarter of the XX-th c.	3
<i>Falkovich S. M.</i> Jan Neczyslaw Baudouin de Courtenaj about the Revolution of the 1905—1907	12
<i>Morozov S. V.</i> The Introduction of the Elements of State Planning in Poland in 1936—1939	20
<i>Lichansky J. Z.</i> Messiaide by Vespasian Kochowsky	29
<i>Lipatov A. V.</i> Enlightenment: Antinomies and Unity of the Epoch	40
<i>Gardzonio S.</i> Trediakovsky — the Translator of the Italian Musical Plays	50
<i>Chovich B.</i> The Motiv of the Death Instinct at Ivo Andrich and Ivan Bunin	61

COMMUNICATIONS

<i>Medvedeva O. V.</i> Materials from the Russian Consulate in Sliven as a Source for the Study of the State of Bulgarian Population in the 30-ies of the XIX-th c.	69
<i>Smirnov L. N.</i> From the History of the Slovak-Ukrainian Cultural Relations in the XIX-th c.	74

MATERIALS TO THE MANUAL OF CHURCH-SLAVIC

<i>Sedakova O. A.</i> Church-Slavic-Russian Paronyms (to be continued)	79
--	----

PORTRAITS

<i>Islamov T. M.</i> «V. M. Doctor Turok»	89
<i>Antonova K. A.</i> V. M. Turok (to the 90-th Anniversary)	92

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

<i>Churkina I. V.</i> The Correspondence between Jan Baudouin de Courtenaj (1845—1929) and Vatroslav Oblak (1864—1896)	106
<i>Шебникова В. В. Г.</i> Перазић, З. Распоповић. Међународни уговори Црне Горе, 1878—1918. Зборник докумената со коментаром	108
<i>Zvolan A.</i> The Syberian Topic in Modern Polish Studies	110
<i>Nikulina M. V. S. V.</i> Smirnov. Essays on the History of Slavic Studies in Russia	112

SCIENTIFIC LIFE

<i>Nosov B. V.</i> International Scientific Conference «Poland and Europe in the XVIII c. International and Inner Factors of the Partition of Rzecz Pospolita»	117
<i>Ananieva N. J., Tsybenko E. Z.</i> International Conference of Slavists in Lublyn	120
The 75-th Anniversary of I. I. Kostiuszko	126

Технический редактор *В. М. Пахомова*

Сдано в набор 12.10.94 Подписано к печати 14.12.94 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Офсетная печать Усл. печ. л. 10,4 Усл. кр.-отт. 9,2 тыс. Уч.-изд. л. 12,0 Бум. л. 4,0
Тираж 860 экз. Зак. 1775

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а. Телефон 938-01-20
Московская типография № 2 РАИ, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Вышла из печати книга: *Польско-советская война.
1919—1920.*

(Ранее не опубликованные документы и материалы).

Отв. ред. И. И. Костюшко. М., 1994. Ч. I—II. 21 а. л.

Документальная публикация содержит архивные материалы, которые значительно обогащают знания о советско-польских отношениях в эти годы. Не опровергая в целом выработанной отечественной историографией концепции польско-советской войны (главным образом причин ее возникновения), документы, однако, показывают, что политическая линия, проводившаяся советскими лидерами в период войны, отнюдь не была безупречной. Ими были допущены серьезные ошибки и просчеты, обусловленные идеологической установкой на неизбежность мировой революции. Попытка советизировать Польшу привела не к победоносному окончанию войны, а к поражению Красной Армии, к подписанию невыгодных условий Рижского мира 1921 года. В сборнике освещаются также взаимоотношения советского руководства с Компартией Польши, функционирование различных ветвей новой власти, некоторые другие вопросы.

Книгу можно приобрести по адресу:
Москва, Ленинский пр-т, 32 А, комн. 924,
тел. 938-58-83, Павлова Наталья Викторовна

3200 р.
каталожная цена

1500 р.
Индекс 70891